



1990

ИТЕРАТУРНАЯ  
ГРУЗИЯ



11



ქართული  
ენების ინსტიტუტი

**На 1-ой стр. обложки: государственный герб республики Грузия, утвержденный Постановлением Верховного Совета Грузии от 14 ноября 1990 г.**



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Рассказы. Перевод Вадима Коленченко . . . . .	3
МОРИС ПОЦХИШВИЛИ. Стихи. Переводы Генриха Варденги, Олега Боб- рова, Натана Баазова . . . . .	69
ДАВИД МЧЕДЛУРИ. Стихи. Перевод Ла- рисы Фоменко . . . . .	73
АКАКИЙ ГЕЦАДЗЕ. Безголосый колокол. Повесть. Перевод Раисы Сыроват- киной . . . . .	78
ЗУРАБ КУХИАНИДЗЕ. Стихи. Переводы Владимира Тереладзе, Гер- мана Плисецкого, Льва Озеро- ва, Даниила Джанашвили . . . . .	127
ГЕОРГИЙ ХОРГУАШВИЛИ. Рассказы. Пе- реводы Лианы Татишвили, Д. Ро- бакидзе . . . . .	132

# 11

## НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ.** Сталин как дух Аримана. Глава из книги «Демон и миф»  
Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе . . . . . 157

## ЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ

- ТЕЙМУРАЗ МАГЛАПЕРИДЗЕ.** Пламенное сердце. (К 175-летию со дня рождения Димитрия Кипиани) . . . . . 180

## СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

- ГЕОРГИЙ ПАЙЧАДЗЕ.** Голос из дали веков. (Русский историк первой половины XVIII века В. Н. Татищев о Грузии и Абхазии) . . . . . 191

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ВЛАДИМИР ЧЕРЕДНИЧЕНКО.** Методы изучения и анализа художественного произведения. II. Культурно-исторический метод . . . . . 205
- МАРИАМ ТАВАМАИШВИЛИ.** «Я нищу тебя, чтоб могла жить душа моя». (Арчил Джорджадзе — о Л. Н. Толстом) . . . 216

- 
- ХРОНИКА** . . . . . 222

## Рассказы

## Г о с т ь

Г еоргий Гвердцители, засучив рукава рубашки, стоял в прадедовской липовой давильне и, опираясь волосатыми руками на ее истертые от долгого пользования боковины, мерно давил виноград. Ступни сильных, вразмет поставленных ног, едва прикоснувшись к спелым, налитым гроздьям, тут же превращали их в сочные, наполовину обеззерненные выжимки. Желтовато-зеленое сусло змеилось тонкой бечевкой по выходному желобу — индури — и стекало в заглубленный в земле водочный чан. Жена Георгия — Пело, в повязанной на голове голубой в крапинку косынке, примостилась на коленях подле индури. Она зачерпывала медной кружкой предназначенную для пеламуши сладкую влагу и сливала в кувшин с выщербленным по краям горлышком.

В марани, где стояли еще две давильни, доверху наполненные черно-белым виноградом, а из пресса в большую лохань струился сок, вбежал Котико — наследник Георгия, запоздалая радость семьи, ее свет и услада.

— Куда? — вопросом встретил его Георгий. — А кто мушмулы нарвать собирался? Так ты держишь слово? Эх, ты...

— Папа, у нас гость!

— Гость? — Георгий остановился, распрямил спину, потер ноги друг о дружку, очищая от прилипших, раздавленных семян, и опустил вниз шерстистые, забрызганные соком руки. — Какой гость, сынок?

— Там, у ворот, тебя спрашивает.

— Мужчина или женщина?

— Мужчина. Фуражка на нем со звездой!..

Георгий насупился, его смуглое, заросшее щетиной лицо помрачнело, минуту назад весело сиявшие глаза подернулись отчаянием и грустью.

— Ты не пригласил его в дом?

— Он отказался. Георгия, говорит, хочу, Гвердцители. Если дома — пусть выйдет...

— Ты сказал, что я дома?

— А что, не надо было?

Муж с женой молча переглянулись. А желтовато-зеленое сусло — плод давешних трудов крепконового Георгия — ручьем текло по индуре и с радостным бульканьем сбегало в наполнившийся уже до середины чан.

— Смотри в оба, как бы через край не хлынуло, — наконец-то промолвила Пело, сняла ситцевый передник и накрыла им кадушку с виноградом. — Котико, детка, а ну-ка, теперь ты возьми кружку в руки. Пеламуши, небось, любишь? И потом, вовсе не такой уж ты маленький! Твои погодки вон по лугам ходят, скот пасут. Не пролей только, и руки прежде вымой. А я пойду гляну, кто это там еще!

— Нет, так не годится, — остановил жену Георгий. В душе его боролись два противоположных желания: тотчас же сгнуться, дать тягу в лес, оставив недруга на бобах, или же доподлинно выяснить намерения пришельца, а уж потом побеспокоиться о себе. — Делом займись! Сусло как отстоится, виноград плетенкой прикроешь — не попало бы чего. Эх, хоть бы это отжать успел. Не судьба, видать! Подай воды, ноги обмою.

Перебросив одну ногу через борт давильни, Георгий ступил на землю, затем осторожно поставил рядом вторую и присел на перевернутую вверх дном корзину.

— Папа, чего ему надо? — не выдержал Котико повисшей вокруг тишины, предвещавшей что-то недоброе. От волнения дыхание у него участилось, в глазах застыли крупные слезы.

— Да кто знает, сынок, чего ему понадобилось. Одно ты и сам смекнул: раз на нем кепка со звездой, стало быть, по дурному делу пожаловал.

— Папа, не ходи, прошу тебя!

— Коль я не выйду, он сам придет. Не все ли равно? И то странно, как он до сих пор не заявился! Эти-то, со звездами, у калитки стоять да дожидаться не любят!

В это время на пороге марани впрямь замаячила чья-то тень, а через мгновение опешившие хозяева увидели и того, кому она принадлежала. Это был среднего роста мужчина со спокойным выражением лица, окаймленного рыжеватой бородой, в наглухо запахнутой черной кожаной тужурке. Голову незнакомца венчала такого же цвета шапка, на которой поблескивала красная — величиной с ладонь — звезда. В руках он ничего не держал, кобуры у пояса тоже не было видно.

— Здравствуй, Георгий!

— Доброго здоровья! Заходи, гостем будешь!

— Бог в помощь! Обилия и вечного достатка твоему очагу!

— Спасибо на добром слове, мил человек!..

— Винограда нынче много. Весь собрал?

— Осталось еще чуток...

— Отжимать, значит, начал?..

— Да, я с утра в давилъне. Малец вот о тебе сообщил. Извини уж, не успел выйти да пригласить.

— А я все ждал, ждал: может, покажется кто-нибудь. Не узнал меня?

— Нет, — щеки Георгия покрылись румянцем и, словно две раскаленные подковы, заалели уши.

— Давай-ка, приглядиись хорошенько!

— Бог свидетель, — и сейчас не признаю!

— Эге! Как же так? — искренне удивился гость.


— Душети помнишь?

Георгию стало жарко. Где-то возле шеи выступила капля холодного пота, оторвалась и маленькой льдинкой покатилась вдоль позвоночника вниз. Вопрос, однако! Что же скрывает за ним этот человек?

— Душети!.. — повторил пришелец, глянул на Пело, у которой от страха язык прилип к небу, и снова повернулся к Георгию. — Прошу прощения, у меня к тебе отдельный разговор. Может быть, супруга и малыш оставят нас ненадолго наедине!

— Нет! Я не уйду! — закричал мальчик и, бросившись к отцу, попытался, насколько это было возможно, прикрыть его собой. — Не уйду, нет!..

— Котико, не совестно тебе, сынок?! — как-то нерешительно упрекнул ребенка Георгий. — Что же ты меня перед чужим дядей срамишь? Иди с мамой. Стол помоги ей накрыть: гость, видно, издалека пришел, про-

голодался. Да не забудь воды родниковой в  кувшине принести!

Когда ребенок с трудом, но все же поддавался на уговоры, Георгий отстранил его и обратился к незнакомцу:

— Слушаю тебя, батоно!..

Тем временем Пело обняла мальчишку, скукожившегося каштановой кожурой, и повела за собой. Котико упирался. Сердцем чуя беду, он не хотел оставлять любимого отца с этим страшным краснозвездным чужаком.

Георгий подал гостю джорко — низкий стульчик, вытесанный из грубого чурбака, подождал, пока тот усядется, и затем сам опустился на точно такой же. Незнакомец мельком окинул глазами хозяина и тут же потупил взгляд.

— Поверь, Георгий, я к тебе без злого умысла! Добра тебе хочу, потому вот и пришел из Хашури!

— Откуда ты, какого роду-племени?

— Из Каспи я — Китеса Карумидзе, а кличут Кито. Раньше в Хандаки у Шервашидзе батрачил. Одно время в Скре на железной дороге стрелочником работал. Фронт турецкий прошел, у Одишелидзе служил. Слышал про генерала Георгия Одишелидзе?

— Как же, войсками нашими верховодил до тех пор, пока не сдал командование тезке своему — Квини-тадзе.

— О, знаешь, стало быть!

— Да, но ты-то, мужик в годах, неужели отмерил такой путь только ради того, чтобы это узнать? — Гвердцителли подосадовал на себя за то, что клянул на хитрую уловку незнакомца, разговорился, брякнул имена генералов Георгия Одишелидзе и Георгия Квини-тадзе — членов Временного правительства независимой Грузии, объявленных сегодня злейшими врагами родного народа. Одно только упоминание их имен само по себе считалось ныне преступлением. Но вылетевших изо рта слов было уже не вернуть, и Георгию ничего не оставалось делать, как замаять собственную оплошность легкой усмешкой.

— Нет, мой Георгий, — незванный гость, похоже, ничего не понял, не придавал никакого значения упоминанию невесть куда запропастившихся генералов и тем



же спокойным тоном продолжил: — Я к тебе совсем по-другому делу. Позволь рассказать!

— Как тебя величать-то прикажешь?

— Сказал же, Кито, Китеса Карумидзе я, из Каспи. Нас с тобой судьба в такой час свела, что ты меня должен помнить. Ну, раз запомнил — ничего тут не попишешь!

— Где ты служишь, звезду эту чего на лоб-то прицепил?

— В хашурской милиции, если это службой называть можно, — сказал Карумидзе и, словно проверяя, на месте ли звезда, дотронулся до нее гладкокожей, отвыкшей от крестьянского труда рукой. — Теперь вижу: ты меня и вправду не признал. Понятное дело: ночь была — глаз выколи, в хлеву темень, каганец едва коптит... То-то ты меня и не заметил. А ведь в том, Георгий, что я сейчас здесь на своих двоих стою, в том, что семья моя не сиротствует — только твоя милость! Дай тебе Бог долгих лет жизни и всех мирских благ! Если бы не ты, кто знает, что бы со мной стало?!

— Да ты толком сказывай, а то все вокруг да около...

— И сейчас не вспомнил?

— Чего вспоминать-то мне?

— Душети... Отрядники ваши тогда на русский эскадрон напали. Кто сопротивлялся — всех подчистую оприходовали, коней увели. Вот и мы там оказались, — я да еще двенадцать парней... Милиционеры из Каспи и Карели. Помнишь?

— Помню... — Георгий утер пот, нагнул голову и вдруг поймал себя на горестной мысли: «Один он или с кем-то еще? Ну, конечно же, кто-то есть. Один он бы ко мне не посмел сунуться да еще беседу затевать. Пацана напугают... Лишь бы прямо здесь не хлопнули, а то и рукой повести не успею!..»

Милиционер тихонько вытащил трубку, набил ее зеленой солдатской махоркой, потянулся было к нагрудному карману за кресалом, но придержал руку и посмотрел на Георгия:

— Милиционерам, ну тем, кто сдался, — помнится, около дюжины нас было, — связали руки и в зандукелевском коровнике заперли. Какуца Чолокашвили

(его, кстати, я до этого не видел) самолично нас всех обошел, с ног до головы оглядел, по-отцовски каждого спросил: кто, откуда, зачем в милицию подался? А ты с парабеллумом следом шел. Ребята тебя признали. Зашептались, мол, если кто перед Какуцей за наши жизни и заступится, то, может быть, вот этот хтисиец — Георгий Гвердцители.

— Ну, жизнь-то тебе подарили... Чего же ты еще хочешь?.. А вообще, не мешало бы тогда прикончить вас всех! Зарок еще помню, Какуце давали... Много вы его выполнили?..

— И мне не по себе, Георгий, потому я из Хашури в этот неблизкий путь и пустился. А теперь слушай: сегодня ночью мы за тобой непременно придем. В ревком и в милицию письмо подметное пришло: так, дескать, и так, бывший соратник Какуцы, крестьянин Георгий Гвердцители скрывается у себя дома в Хтиси, и ежели его сейчас же не накрыть да не спровадить в тюрьгу, кто знает, может быть, он вслед за своим хозяином за кордон драпанет, еще и сведения какие-нибудь прихватит. Вспомнил я твою доброту и сразу же поспешил сюда.

— Скажи мне, как на духу, Кито: темнишь, в ловушку заманиваешь, или же правда все это?

Милиционер стянул хлипко державшуюся на полумысой голове шапку с алой звездой и перекрестился:

— Не сойти мне с этого места! Век причастия не видать! Разрази меня святой Георгий!

— Ну хватит, вижу, человек ты не лживый. Не было бы только за тобой слезки, а то упекут туда, куда и меня норовят!

— Об этом не тужи, Георгий. Не такой уж я проstack, хотя, чем черт не шутит, любого подвоха можно ожидать.

— Что ж ты мне посоветуешь?

— Бери ружье и ступай в лес. Ночью мы обязательно придем по твою душу. Расстрела не миновать!

Георгий прикрыл ладонями виски, локтями оперся на колени и задумался. Так, в полном молчании, он сидел довольно долго, потом вдруг встал, распрямился и, словно приняв какое-то спасительное решение, повернул округлое лицо к восседавшему рядом гостю — вестнику грядущей беды.

— Значит, ты говоришь, ружье в руки — и в лес?!

— А как быть, Георгий, что же мне еще присоветовать? Иначе к стенке поставят... Бога нынче никто не боится. Да и веры в него нет! Жизнь человеческая гроша ломаного не стоит. Только у нас в Хашури, в милиции и в ЧК каждую ночь, чтоб не соврать, по двадцать пять — тридцать, а то и по сорок — шестьдесят душ к праотцам отправляют. Князь ты или из простых, священник или сельский учитель — всех скопом, без разбору... Откуда столько их берут — ума не приложу, но в живых, точно, мало кто остался. По горло в крови плаваем!

— Нет, мой Кито! Что бы ни было, даже если меня, как пасхального ягненка здесь же располосуют, — я сегодня никуда не уйду, семью врагам на растерзание не оставлю! Да и что один-два человека, пусть даже сотня людей, могут сделать?! Если я в лесу укроюсь, они же в отместку моих родных наизнанку вывернут. Дом подожгут, а жену и детей — кровинушек моих горемычных — в уезд свезут. Неизвестно, что там еще будет! Потом подошлют посредником кого-нибудь твоей масти и предложат: сдавай оружие, голову на плаху клади, не то мы родню твою псам голодным скормим. Ну что, не так, скажи по правде? Ни я, ни семьи моей безвинной горе их сердца не разжалобят!

Милиционер ничего не ответил, только опустил голову.

— Раз так на роду написано, пусть уж лучше приходят, из дому меня забирают. Солнце еще за полдень не перевалило: побуду до ночи среди своих да ладом домашним глаз и душу потешу! Хоть жалеть потом не придется, что умом не пораскинул и не поступил так. А, как думаешь?

— Ты сам себе хозяин, Георгий. Как сердце подсказывает, так и поступай. Я же насильно не заставляю, я просто по-христиански... Решил, значит?

— Да, Кито. Знаю, смерть на пороге, но и другого выхода у меня нет.

Милиционер встал, по самые брови нахлобучил свою краснозвездную кепку, которую все это время тербил в руках, и еще раз посмотрел на Георгия.

— Ну, пойду я, что же мне здесь делать!

— О чем ты, Кито, — встрепенулся Георгий, —

да что мы, тьфу-тьфу, нехристи какие, гостя так отпустить?! Вмиг все будет! За хлебом-солью дело не станет, будь спокоен! Посидим до вечера за стаканчиком. Вино у меня — причащаться впору! Той осенью залил, когда к Какуце ушел. Храни его Бог, где бы он ни был!

— Аминь!..

— Аминь? Ладно, остальное — моя забота. Пойду-ка женушку позову для начала. Пело! Пело! — Георгий неторопливо поднялся и вышел за дверь.

Пожалуй, сошествие с небес всех ангелов господних не ошеломило бы Пело и Котико крепче, чем та картина, которую они увидели, вбежав в марани. Георгий сидел на своей скамейке и, приятельски беседуя с гостем, попыхивал «козьей ножкой», скрученной из грязноватого обрывка газетной бумаги. Курильщиком он никогда не был. Лишь изредка, в минуты безысходной тоски, снедавшей сердце, мог побаловаться табачком. Пело безошибочным чутьем верной супруги поняла, что дело неладно, хотя на лице Георгия не угадывалось никаких следов волнения. Напротив, подозрительному гостю, недавно холодно принятому, разве что не обруганному последними словами, муж смотрел в глаза так, словно у него на целом белом свете не было товарища желаннее и ближе.

— Пело, а ну-ка, золотце, — обратился Георгий к жене, — сперва поздоровайся с нашим дорогим гостем, а потом, кормилица ты моя, накрой такой стол, чтобы сам царь Ираклий, окажись он здесь, слышишь, сам царь Ираклий не побрезговал бы трапезой! Ты всегда слыла щедрой хозяйкой, вот и попотчуй нас вкусненьким. Что есть — все на стол! Эх, где наша не пропадала, гульнем мы сегодня с Кито на славу. Всем врагам назло! Правда, Кито?

— Опомнись, Георгий! Где это видано, чтобы два мужика пир устраивали? Люди ведь засмеют, соседей хотя бы позвал!

— Никто нам не нужен! Я и Кито — давние друзья, вместе на турецком фронте воевали, не один пуд соли съели! Уважил он меня, в дом пожаловал. Вот мы и посидим вдвоем — прошлое вспомним. Другим, всего верней, до него, до нашего былого, и дела никакого нет! Прав я, Кито? И нечего тебе, хозяйка, брови

хмурить. Нельзя нам, что ли? Лучше постарайся, как ты умеешь, мальчика вон на подмогу возьми!

— Оно-то можно, да только... Вам где, здесь на-крыть?..

— А, Кито, что скажешь? — Георгий, уже весь в предвкушении кутежа, повернулся к слегка обескураженному поворотом событий гостю. — Не лучше ли прямо тут, в марани, — вольготнее будет!

— Как тебе угодно, Георгий-батано!

— Ну, Пело, давай, не ударь лицом в грязь.

— Папа!

— Да, сынок!

— Я с тобой останусь.

— Оставайся, родной, но кто, кроме тебя, маме поможет? Девчонок-то наших, как ветром сдуло! Куда же ты ползешь, паршивец этакий?!

Милиционер сидел, словно на иголках, и почему-то зря клял про себя собственную судьбу: «Ну, угораздило меня, надо же было такую дурость спороть! Молчал бы себе в тряпочку, — нет, сюда потянуло. Какой только бес попутал?! Чего теперь плести в оправдание, если милиция нагрянет, сукин ты кот?!» Отправляясь в Хтиси, он был уверен, что успеет предупредить Георгия Гвердцители и благополучно вернуться назад до прихода конвойных. Сейчас же из-за странной причуды Георгия заранее отлаженный план рушился, а пренебречь приглашением, обидеть обреченного на гибель человека, Карумидзе, хоть убей, не согласился бы.

Кое-что у Пело уже было готово, точно она поджидала гостей. Мужчины томились недолго. Хозяйка внесла в марани покрытый рушником черный деревянный лоток, установила его на индури, из тупого рыльца которого по-прежнему капало зеленовато-желтое сусло, на миг замешкалась, потом сняла с каменной стены поперек висевший на вбитых крючьях маленький столик, сдула пылинки и, став между мужчинами, начала раскладывать глянцевые тарелки с угощением. Чего тут только не было: молодой кресс-салат и квашеная свекла, джонджоли и холодное имеретинское лобио, отварная курица и поросятина, свежий сыр и плоские, только что со сковороды кукурузные лепешки. Тем временем Георгий вынес во двор мотыгу, деревян-

ный заступ, затем вернулся и открыл квеври. В воздухе мгновенно разлился пьянящий запах вина.

— Кито, иди-ка взгляни, какое вино!

— Наверняка, отменное, худого ты бы в квеври не залил!

— Что значит «наверняка»... Нет, ты подойди, полюбуйся! В следующем году уже не придется угощать... Дочки у меня на выданье. Не довелось мне их обвенчать. На свадьбу берег. Э, да была не была, сами попьем! Кому же еще, как не нам?! На свадьбу и нынешнее пойдет, а нет, так у меня другое припасено, не лыком шиты! Ну-ка, давай!

— Да не переведутся в этой семье свадьбы и крестины! — произнес первую здравицу гость, который никак не мог зажечься деланной веселостью хозяина. Кито поднял полный стакан прозрачного янтарного вина, будто мучимый недельной жаждой, разом опорожнил его и вернул Георгию, пристроившемуся на корточках возле открытого квеври — огромного, врытого в землю глиняного кувшина. — Воистину нектар! Ей-Богу, такое прямо в жилу пойдет! Его пить — ровно сотню лет проживешь!

Вторым стаканом хозяин утешился сам и, осушив до дна, взглянул на гостя:

— Еще по одному, а?

— Не неволь, Георгий, да и сам не расходись. Закусите, тогда и от вина проку прибавится! — вкрадчиво — не обиделся бы — сказала мужу Пело и поставила перед ними здоровенную бутыл, оплетенную свежесрезанным прутняком.

— Лейку, женщина, лейку!

— Сию минуту. Сынок, сбегай!

Прежде чем бутыл заполнилась, Георгий влил в нее с полдюжины черпаков, потом накрыл подплесневелой крышкой горловину квеври и поднес вино к столу.

— Туговато нам придется, если мы это осилим, Георгий!

— Всю должны опростать врагам назло! Я не тужу, а тебе и подавно не стоит!

Оба они, не на шутку проголодавшиеся, неторопливо принялись за еду. Георгий расчленил аппетитной желтизны упругую курицу и положил лучшие куски на тарелку гостя.

— Не беспокойся, Георгий, я сам возьму!

— А ты, кроха! Что хочешь, пупок или легкие?

Выпили за урожайный год, щедрую осень, подняли тост в честь вещей благодетельницы очага — адгилис-дэда, благословили мать семейства, детей, трудами нажитое добро, добрым словом помянули усопших. На шестом или седьмом тосте Георгий слегка заколебался, словно не решаясь его произнести. Долив в стакан вина, он бросил взгляд в сторону гостя, грузно возвышавшегося рядом на табурете.

— А сейчас, Кито, знаешь, за что выпьем?! За нашу несчастную Родину... А, что скажешь?

— Давай, — согласился Кито и, чокаясь своим стаканом с протянутым стаканом Георгия, нечаянно пролил ему немного вина на брюки.

— Да не убавятся у нее враги, и не ослабеют друзья! Слышал старинное присловье: плох человек, не имеющий супостата, как негож и одоленный им. Так пусть же Родина наша вздохнет наконец свободно и возблагодарит Всевышнего за то, что он не презрел ее и не принес в жертву на веки вечные гибельному провидению! И еще, знаешь, за кого выпьем, Кито? За тех, кто ради своей страны жизни не щадит. Той, единственной, Богом дарованной. Тебе известно, кого эти слова касаются! Родина и минуты не протянет, если у нее нет преданных, самоотверженных сынов. Вот за таких верных сынов и тост!..

— Э, Георгий, губитель мой, не то ты заладил. Хочешь, чтобы и меня схватили? А ну, как кто услышит нас! Время нынче такое: трава да камни — и те уши имеют.

— Язви их мать в душу! На кой мне такая жизнь, ежели взамен сердца в грудь камень втисну, и ту малость, что мне на белом свете отмерена, по-людски не отбуду?! Или не так, может? Пей, Кито, не бойся, не ты ведь, — я это говорю!

Кито-милиционер тянул время, не решаясь, как поступить: принять тост или отставить стакан непригубленным. Видимо, он не был полностью уверен, что, кроме хозяйки и маленького мальчонки на отцовских коленях, к их застолью никто не прислушивается и не берет каждое слово на заметку, дабы потом сообщить куда следует. В конце концов рассудив, что крамола и

впрямь исходит не от него, а от другого, он опрокинул стакан в рот и потянулся за горячими хачапури, которые только-только поставила на стол Пело, в щедром гостеприимстве ничуть не уступавшая своему мужу.

Георгий от всего сердца выпил тост за гостя, не забыл про семью и домашнее благоденствие, пожелал ему поскорее, пока не увяз в грехах, оставить чертову службу и честно сдержать слово, которое, перед тем, как невредимым отпустить восвояси, взял с него в Душети венценосного великодушия человек.

Вино заметно ударило в голову обоим. Время от времени Георгий уносился мыслью куда-то далеко, взгляд его туманился крупной слезой, и он, некрепко прижимая к груди беспечно сидевшего на коленях малыша, внезапно каменел, но через мгновение вновь приходил в себя и наполнял стаканы для очередного тоста.

Терявшаяся в противоречивых догадках, сумрачная Пело, уткнувшись рукой в подбородок, стояла возле давилни и не сводила глаз со своего непривычно возбужденного мужа. «Что с ним стряслось сегодня,— думала встревоженная женщина, — таким сумасбродным и веселым я его даже в молодости не видела, когда жизнь нам сплошной радостью казалась, а невзгоды — милостью Божьей».

— Пело... Хозяйка!.. — закричал Георгий, повернувшись вполоборота и выскивая глазами жену.

— Здесь я, Георгий. Чего расшумелся, никак опьянел?

— Я опьянел? Скажешь, тоже! Ничего подобного! Где наша дайра?

— Дайра? — Пело коснулась трехперстием лба.— Господи, не гневись! Зачем тебе дайра?

— Принеси-ка да подыграй нам, сейчас мы спляшем по-свойски!

— Да ты что, совсем ополоумел?! — схватилась за голову двумя руками женщина. — Нет, ты сегодня, точно, не в себе!

— Гулять так гулять! — выкрикнул Георгий, вскочил, стал на цыпочки, гортанно запел что-то плясовое, одной рукой по-прежнему прижимая ребенка к груди, выбросил в сторону другую и бойко завихрился в танце.



Потрясенная Пело, готовая было вот-вот заплакать, чтобы не огорчать Георгия своим унынием, попыталась принять веселый вид. Она хлопала в ладоши, поглядывая при этом на мужа и сына с таким содроганием, будто они переходили бездонную пропасть по туго натянутой веревке, которая в любую минуту, в любую секунду могла оборваться.

— Таши-и-и! — Георгий вконец разохотился, распалился, опустил мальчугана наземь и орлиными крыльями распростер обе руки. Когда же Котико в подражание отцу положил одну руку на затылок, а другой, вытянутой вперед, ритмично зачастил и, откалывая колнца, прошелся по кругу между давилей и липовыми кадушками, всем сердцем дрожавшая Пело, чаша терпения которой без того была переполнена недобрыми предчувствиями, не сдержала слез. Милиционер Кито, не принимавший никакого участия в безудержном веселье отца и сына, а наоборот, отводивший глаза, встал и засеменял к выходу.

А отец с сыном все плясали. В стремлении перещеголять друг друга они выделяли вприсядку лихие выверты до тех пор, пока у обоих от усталости не зашлось сердце. Георгий, пританцовывая, подкружил к жене, передернул ногами, пригласил в круг, но, спустя мгновение сник, словно его обдали ушатом холодной воды: жесткий, если не сказать, грубый отпор Пело отрезвил его и враз напомнил о том, что все происходящее не сон, а самая настоящая явь. Солнце уже успело зайти. На округу накатывались сумерки. А вдруг, подумал Георгий, они не станут ждать полуночи и, не по обыкновению, заявятся на порог раньше: надо бы подготовиться.

— Где он? — спросил Георгий, когда вернулся к столу, снова посадил на колени запыхавшегося сынишку и увидел пустой табурет гостя. — А ты чего разревелась, а? Живого человека оплакиваешь? Впрочем, знаешь, дело и вправду слезами оборачивается!

— Врагу твоему слезами изойти! Георгий, что ты мне сердце рвешь, мало я выстрадала, не хватит?!

— Ступай, две пары белья в сумку сложи. Может и не понадобится, но заведено так. Носки теплые... Морозы в тех местах гиблых лютые... На два дня харчей заверни во что-нибудь.

— Куда ты идешь, Георгий, опять в лес? И мы пойдём, клянусь Котико! Не могу я без тебя!..

— Соberись с умом, женщина! Сегодня ночью, в любое время, по мою душу из Хашури придут. Какой-то упырь подколодный накапал: отрядник Какуцы... за-таился, дескать... хватайте его — и в каталажку, не то сбежит. Встречу их наготове. А вы не бойтесь, не людоеды же они, в самом деле. От судьбы никуда не денешься! Котико, ты ведь не испугаешься, сынок? Тебе великим героем надо вырасти, не одному чудищу башку срубить! Ах ты, постреленок!.. Давай, мать, живей поворачивайся, и чтоб я слез не видел, так и знай! Нельзя перед врагами страх выказывать, злодеев дрожью своей забавлять. Чем сырость разводить, лучше побыстрей сделай, что велено!

— Георгий! — Пело, не стесняясь навзрыд плакавшего ребенка, бросилась к мужу, упала на колени и обхватила руками его шею. — Георгий!.. Мей Георгий! В милицейских когтях врагам нашим заклятым корчиться. Теперь не жди пощады! Погибли мы!

— Ясное дело, не пощадят меня. Расстреляют или в Сибирь сошлют. Теперь их черед. Так Бог рассудил, ему виднее. Было время — и я не щадил. Крови на мне хватает, одно только успокаивает: безвинных пальцем не трогал. Ох, дьявольщина! Ну ладно, вставай, не жди, когда придут и все вверх дном опрокинут! Семейю на тебя оставляю, хочешь не хочешь — должна выдюжить! Еще раз свидетесья нам вряд ли дадут, но утром все же подойди — авось какого сердобольного и встретишь. Сыночка нашего, помогай ему Бог, расти так, чтоб безотцовщиной не мучился. А дочерей, если кто порядочный объявится, не тани — выдавай замуж. Не то, пока перебирать будут, вовсе в девках останутся. Ну а ты... Чего же тебе сказать?..

Тем временем в марани неуклюже, шкандыбистой походкой вошел Кито-милиционер, поправил красные лампасы и, не обращая ни на кого внимания, побрел к табурету.

Вечерняя заря уже давно минула, когда Георгий и Кито выбрались за ворота и поспешили к окраинному роднику, откуда к деревенским виноградникам спускалась крытая березовым горбылем аробная дорога, где-то

у самого низа выходящая на уездный большак Хашури.

...Кито не хотел мешаться в это дело, как не хотел, чтобы кто-либо узнал о его встрече с Георгием Гвердцители. У милиционера зябла душа при мысли о том, что он в этот злополучный день не только якшался с врагом народа, но и здорово гульнул в его доме. Опять же на выручку пришел хозяин. «Как пить дать, — уверял Георгий, — чей-то острый глаз непременно заметил тебя в моей компании! Слухами земля полнится — начальство об этом рано или поздно пронюхает. Нахлопочешь на свою голову, оно тебе надо?! А мне от ареста не открутиться, — так чем другие повяжут, лучше уж ты бери меня за грудки и волоки в уезд! Хоть семья, даст Бог, разора избежит, страху не натерпится!» Кито заколебался, но в конце концов, взвесив, обдумав, видно, понравившийся совет, поднялся и заторопил Георгия. Ладно, мол, будь по-твоему, только не до рассвета же рассиживаться — времени в обрез, тронемся в путь.

У ворот Георгий остановился, забросил за плечо легкую сумку, еще раз окинул взором все свое потом наработанное добро: дом, коровник, сеновал, амбар, марани, яблоневый сад, новый виноградник, который дал в этом году первую завязь. На глаза навернулись горькие слезы. Георгий украдкой смахнул их. Милиционер Кито, беззаботно напевая, пошел вперед. Он знал, что еще отнюдь не постаревшая жена и сын провожают кормильца семьи в последнюю дорогу и не хотел становиться свидетелем их вечной разлуки. Несмотря на явно удачный оборот дела, на сердце у него было неспокойно: вдруг этому мощногрудому Георгию Гвердцители именно сейчас вздумается бежать; каким же, к чертям собачьим, преследователем, тем паче, — поимщиком, окажется он, Китеса Карумидзе, и так-то едва переставляющий ноги?!

Страхи милиционера были напрасными. Отдавшись во власть безропотного повиновения судьбе, Георгий Гвердцители не помышлял ни о чем подобном. Невозмутимо, словно отправлялся в соседнее село, а поутру собирался вернуться назад, он раздал последние наставления сыну и жене, под стать ему самому накрепко стиснувшем зубы, так же молчаливо попрощался с обои-

ми и затрусил следом за намеренно ушедшим вперед Кито.

Весь путь до хашурской железнодорожной станции, за которой, пугая прохожих зарешеченными окнами, стояло серое здание уездной тюрьмы, они прошагали нога в ногу. Ровный свет молодой луны заливал тронутые желтизной, уже убранные виноградники. Фигуры идущих стелились по земле непомерно длинными тенями.

— Какая ночь! — мечтательно произнес Георгий и посмотрел на звездное небо. — В такую ночь сухое сено хорошо собирать да в стога сметывать. Мягкое оно тогда, не сечется...

— Еще бы! — поддакнул милиционер.

— Или кукурузу перебирать. Возьмешь табурет, с краю присядешь — и обдираешь себе потихоньку початки, пока сам весь в шелушине не потонешь... Эх, сколько рассветов так встретил!..

— Еще бы! — машинально повторил милиционер. Он не слушал своего пленника, а мысленно уже стоял навтыжку перед начальством и в мельчайших подробностях докладывал о задержании Георгия Гвердцители — правой руки разбойника Чолокашвили.

Дело всерьез осложнялось, если бы Гвердцители, решившись, успел укрыться в лесу и ружейными выстрелами ответить на такие же приветствия врага. Впрочем, хашурские ревкомовцы легко зацапать его особенно не надеялись. Замышлялось внезапно нагрянуть в дом, обыскать каждый закуток, конфисковать имущество, а жену и детей пригнать в Хашури, в расчете на то, что сбежавший было Гвердцители сам явится с повинной и сдаст оружие.

Сейчас же надобность в какой-либо из этих процедур, вполне возможно, вышедших бы милиции боком, отпадала, благодаря умелым действиям рядового милиционера Китесы Глахоевича Карумидзе. Именно оружие или, на худой конец, ценный подарок мерещились ему уже совсем близко.

— Георгий, давай-ка теперь ступай вперед, — сказал Кито, и в руке у него неизвестно откуда появился наган с предусмотрительно взведенным курком. — Все! Ты меня не знаешь, я — тебя!..

— Воля твоя. Господи, не откажи в милости: мо-

жет, и расстрелять меня тебе поручат! Раз уж <sup>смерть</sup> — так лучше от твоей руки принять! Как-никак, <sup>легче</sup>.

— Разговоры!..

По широкому балкону ревкомовского здания взад-вперед сновали вооруженные до зубов милиционеры, красноармейцы, местные партийцы и комсомольцы в кожаных куртках. Окна здесь светились круглосуточно, потому как ревкомовская, то бишь, новая правительственная власть, в феврале двадцать первого пришедшая на смену уездным комитетам демократической республики, в работе своей дня и ночи не различала. В квадрате мощенного грубым плитняком двора, у коновязи фыркали лошади, тянулись мордами к торбам с ячменем, смачно похрустывали и, беспрестанно переминаясь с ноги на ногу, высекали подкованными копытами желтые искры. Полчаса назад привезли большую группу арестованных из Эртацминда, Носте и Метехи. Теперь их дела рассматривала наспех собранная чрезвычайная комиссия. Ожидались новые партии...

Появление в ревкоме бывшего соратника Какуцы Чолокашвили, ушедшего с остатками отряда за границу, надо сказать, ни у кого все же не вызвало ни удивления, ни радости: ага, дескать, голубчик, попался!.. Шаткая деревянная лестница, по которой Георгий вместе с Кито Карумидзе поднимался наверх, теперь проводила его вниз. Он прошел мимо лоснистых, слегка взопревших лошадей, и после того, как щуплый красноармеец отворил запертую на большой замок дверь, очутился в темном, затхлом от сырости подвале. В крошечном мраке продолжая двигаться наугад, Георгий тут же споткнулся о чьи-то ноги и остановился.

— Есть здесь кто?

— А ты думал, в плацкарту попал?!

— Кто будете, из какого села?

— Ты сам назовись-то.

— Георгий Гвердцители.

— Откуда?

— Из Хтиси.

— Значит, и туда добрались!

— Эй там, не спится вам, что ли? Успеем еще завтра перезнакомиться!

Но для заточенных в смрадном подвале <sup>детей</sup> Божьих завтрашний день так и не наступил. На рассвете жителей окрестных улиц, что прилегали к <sup>станции</sup> станционному зданию, разбудил приглушенный лай винтовок и карабинов, доносившийся из глубоких подвалов. Местные обитатели уже почти привыкли к этой страшной побудке, и даже если ее не было, они, все равно просыпаясь в назначенный человеку природой час, с ужасом прислушивались: повторится сегодня вчерашнее или нет.

Рано утром, еще до восхода солнца, к воротам тюрьмы подошли Пело и Котико. Как было условлено, они принесли Георгию завернутую в марлевый лоскут еду и попросили свидания с арестованным. Франговатый милиционер без единого волоска на лице, в ладно пригнанном, с иголки, мундире, заглянув в обляпанную чернилами, засаленную амбарную книгу, вернул харчи назад. Через пару секунд сквозь то же прорезанное в двери небольшое оконце просунулся дерюжный грязный узел, в какие обычно увязывают одежду осужденных на смерть. Милиционер указал пальцем на стенку и на русском обратился к окончательно расстроенной Пело:

— С вас два рубля семнадцать копеек!

— Что он говорит? Не знаю я русского, по-грузински скажи.

— Два рубля семнадцать копеек нужно, родная моя, — прошептала стоявшая рядом с Пело у оконца такая же убитая горем женщина.

— Передачи не принимает, зачем же тогда деньги, негодник, требует?!

— Порядок такой.

Пело достала из-за пазухи упрятанные в носовой платок рублики, отсчитала милиционеру и только после этого повернулась к стене. На ней был вывешен список лиц, расстрелянных два с половиной часа тому назад, утром шестнадцатого октября тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Георгий Гвердцители числился в этом списке самым последним, тридцать первым.

# БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

Тревожная весть о том, что части русских заняли Акушо, настигла Баадура Бадурашвили, двадцатилетнего парня, самого молодого среди повстанцев, ясноглазого, с робким пушком на подбородке, и его сверстника, хевсура Хвтисо Циклаури как раз в тот момент, когда они, прибывшие в Хахмати за провиантом, доверху набили холщовые хурджины вареным мясом, мукой, свежим сыром, ячменными лепешками и, навьючив поклажу на низкорослых, поджарых лошадей, собирались двинуться к Барисахо.

Вступление в Акушо регулярной армии победивших Советов недвусмысленно означало, что ей, не без помощи прекрасно знавшей окрестности местной чекистской братии, удалось задействовать на крутых горных взлобьях дальнобойную артиллерию, обойти с флангов укрепившегося со своими людьми в Орцкали Какуцу Чолокашвили и поставить его перед угрозой полного окружения.

Ни в самом Акушо, ни в других хевсурских селах, кроме малых ребят, недужных женщин и дряхлых стариков, никого не было. Все, кто могли держать в руках оружие, верные клятвенному обету, плечом к плечу с Какуцей сражались в неравной борьбе; если бы сейчас коварному врагу вздумалось растечься огненной лавой из Акушо по другим селам, он, не получив достойного отпора, не оставил бы от них камня на камне.

Какуца не раз брал верх в жарких схватках с превосходящими силами противника, но теперь, попав в западню, он не видел иного выхода, как распустить всех до единого хевсур по домам, а самому той же дорогой, по которой поднялся сюда, спуститься в Барисахо.

Именно о таком решении Какуцы известили Баадура специально разосланные по селам вестовые и от себя добавили: Бог с ней, мол, с провизией, не до того нынче, уходим...

Хахматские старики, бывалые воины с иссеченными в поединках суровыми лицами, те, что так старательно набивали хурджины снедью и вот-вот собирались

проводить в путь обоих молодцов, изумились. Как же так, неужто все труды наши насмарку пошли?! Но приказу командира не воспротивились. Они привязали к столбу тяжело груженных лошадей, с глухим фырканием лениво простукивавших булыжное отмостье небольшого двора и, затенив глаза ладонями, смотрели вслед Баадуру до тех пор, пока он — простоволосый, в кургузой чохе, с ружьем через плечо — не спустился по ослизлой после ночного дождя дороге и не скрылся из виду за свежесметанными стогами сена. Баадур ушел один. Он намеренно не взял себе в попутчики Хвтисо, чтобы не подвергать его опасности, — ведь парень «только недавно женился». Солнце стояло еще высоко, и не возникни в пути какая-либо непредвиденная задержка, можно было к полночи добраться до ущелья Пшавской Арагви, там, в первом же селе, полагаясь на собственное чутье, разыскать надежного человека и справиться у него об отряде Какуцы.

Смеркалось, когда Баадур присел возле ручья на серый валун, опустил ноги в воду, потом снял башмаки, пестрые онучи — подарок девочки-хевсурки, стянул носки, выжал их, вновь надел и, не теряя времени, поднялся... Мокрые башмаки набрякли и мешали идти. Ноги внутри скользили, выхлюпывая наружу грязноватую влагу. «Ах я, черепок дырявый! Не додумался босиком воду толочь!» — в сердцах ругнулся про себя Баадур, опять присел в затишке, положил рядом ружье, разулся, связал шнурками башмаки, перекинул их через плечо и уже в одних носках заспешил дальше.

В ущелье похолодало. Со стороны реки доносился резкий, со злым подвывом, шум водопада. Сырой, пронизывающий до костей ветер гнал по небу хмурые тучи. В кромешной темноте, почти наугад Баадур шел по узкой тропинке, словно нарочно, в некую помощь запозднившимся путникам, покрытой белым крупным щебнем. «Упаси Бог ногу подвернуть или на засаду нарваться, — думал он на ходу. — Сковырнись в пропасть, расшибись насмерть, а там Арагва вмиг унесет, и поминай как звали! Эх, какой парень згинул!..» Задористая самопохвала развеселила Баадура. Он улыбнулся, но тут же нахмурился: «Хотя бы детей оставил, носачты этакий, — вертелось в голове, — чтобы бадурашвилевское семя не вытравилось. Опять же и перед отцом



ответ держать придется. А что сказать? Еще куда ни шло, если бы он меня собственноручно в цинандальский лес не привел да при всем честном народе не заявил: вот тебе, дескать. Какуца, мой первенец, пусть послужит Отечеству, сегодня место каждого порядочного человека рядом с тобой в лесу, а коли изменит, — убей его, мне все одно, сын-предатель не нужен. Бедный, бедный отец! Я же знаю, как у тебя при этих словах горело сердце. Кому же легко сыном жертвовать?! Ну, заломает меня сейчас в лесу медведь, или Арагва притопит... Что тогда скажешь?.. Человек ты подозрительный, подумаешь еще, что изменил я Какуце, Родине изменил, нарочно от отряда отстал и где-то в глухомани схоронился. Затаскают тебя чекисты, допросами изведут, Каракозов, главный их, — ни днем, ни ночью продыху не даст, милицию и партийцев вдобавок науськает: подавай, скажут, твоего сына-мятежника... И не поверит никто, что пропал, пропал твой сын ни за понюшку табаку, что душа его давно к небу отлетела!.. Чу! А это еще что такое? Собачий лай? Или волки воют? Нет, на вой точно не похоже. Выходит, собаки. Значит, где-то рядом село должно быть или чабанская стоянка. Но с чего бы это псам среди ночи лаять? Никак чужака какого-нибудь обгавкивают. Стало быть, не один я здесь, еще кто-то поблизости...»

Баадур не ошибся. Это был действительно собачий лай, но такой отдаленный и глухой, что его мог различить только обладатель очень тонкого слуха. Юноша насторожился и, затаив дыхание, прислушался. Лай не прекращался, но ярости в нем поубавилось: видно, чужаки прошли стороной и теперь уже поднимались по крутому подъему или же заспанный хозяин отворил двери, прикрикнул на собак и пригласил незваных гостей в дом.

И то, и другое служило поводом для беспокойства. Если неизвестные путники одолели подъем, они могли с минуты на минуту нос к носу столкнуться с Баадуром — другой дороги здесь не было; если они заглянули на огонек в хозяйскую избу — ровным счетом ничего не менялось к лучшему. Пришельцы могли оказаться чекистами или дотошными партийцами, что в любом случае принуждало Баадура не высовывать голову и держать ухо востро.

Крепко стискивая в руках взведенное ружье, Баадур сделал еще полсотни шагов и остановился. Ночную тишину нарушали только приглушенный рокот Арагви да тревожный перестук собственного сердца. Это придало юноше решительности. Он снял с плеча мокрые башмаки, растесемил их, поочередно натянул обутки на ноги, завязал шнурки бантиком и размеренной поступью бывалого охотника пошел по тропе, которая в этом месте заметно расширилась. Если бы кто-либо и впрямь появился из-под уклона, Баадур с поднятым на изготовку карабином, несомненно, успевал выстрелить первым, но на беду тьма еще больше сгустилась, и угадать — друг впереди или недруг? — становилось попросту невозможно.

Занятый этими мыслями, где-то внизу, в прибрежной роще Баадур вдруг увидел освещенный прямоугольник небольшого окна. Тусклый желтоватый свет неясно выхватывал из черноты верхнюю делянку огороженного двора и купу раскидистых, то ли ореховых, то ли липовых деревьев. Над притемненной крышей вился дымок и вместе с оранжевыми искрами под порывами ветра отлетал в сторону, разнося далеко вокруг едкий запах сырых поленьев.

Баадур вновь одолели сомнения. Он совсем было собрался повернуть назад, а затем спуститься по крутому на берег реки, но затея эта, при такой темноте да еще в незнакомом месте, показалась ему чересчур рискованной, и в конце концов парень осторожной бесплотной тенью двинулся к дому. До усадьбы уже оставалось подать рукой, как вдруг в последнюю секунду Баадур оступился, ткнулся мокрым башмаком в какой-то булыжник, и тот, нырнув в прорезанную дождями неширокую расщелину, с грохотом покатился вниз.

— Ну все, теперь мне конец!.. Христос-Спаситель, Пресвятая Богородица, сжальтесь надо мной! — вырвалось у Баадура. Он торопливо перекрестился и, недолго думая, одним махом перепрыгнул через расщелину. Едва ноги коснулись земли, как левую лодыжку пронзила острая боль. Баадур скорчился и глухо застонал. Где-то совсем поблизости загавкал пес, а спустя мгновение уже несколько собачьих глоток разразились неистовым лаем. Боль в лодыжке, резкая до полубеспамят-

ства, не стихала. Баадур напряг зрение и увидел, что две чабанские, сторожевые псы упорно пытаются перескочить через забор, а третий, видно, поболее сметливый волкодав стремглав неся вниз, — наверняка, к воротам или перелазу, откуда можно было беспрепятственно вырваться со двора наружу.

Баадур пошарил рукой по земле. Если псы сейчас набросятся на него, то, как ни жаль их хозяина, придется пустить в ход оружие. Но куда девался карабин? Неужели при прыжке ненароком сорвался в промоину? Лодыжку не отпускало, нога все пуще наливалась болью — не пошевеливать! Наконец Баадур нащупал приклад ружья, подтянул его к себе. Внезапно дверь дома отворилась. На подворье, замкнутое изгородью, на дорогу, где лежал обессиленный Баадур, легла длинная, узкая, как копье, полоска света.

— Эй, кто там? — раздался старческий хриплый голос. С каганцом в руке хозяин вышел на крыльцо и, пытаясь что-либо различить, вгляделся в темноту. — Если есть кто, подай голос, чего язык проглотил?!

— Сюда, дядя, сюда, — откликнулся Баадур и удивился слабому дребезжанию собственного голоса.

— Куда? Да и кто это меня зовет? Цыц, собачье! Прочь отсюда, вот я вас!.. — к радости Баадур старик поставил каганец на приступку, взял в руки палку и принялся унимать собак. — Какая муха вас укусила?.. Человек ведь, не волк... Дайте хоть разобратся, чего он там бормочет?!

— Путник я, путник простой! Ногу вот подвернул, встать не могу!

Хозяин тяжеловатой походкой пересек двор и сквозь пролом в заборе выбрался на дорогу.

— Эге, да у тебя еще и ружье, оказывается?! — удивленно воскликнул старик, когда приблизился к Баадур и заметил иссиня-черный ствол карабина. — Давай-ка его сюда, не то милицию позову.

Баадур сцепил зубы, преодолевая боль, чуть стронулся с места и протянул карабин. Это успокоило старика. Явись прикинувшийся увечным незнакомец, действительно, с худой мыслью, — вряд ли бы он так, без колебаний отдал оружие.

— И кинжал снять? — со скрытой усмешкой спросил Баадур.

— А как же! Сию же минуту отстегни, если есть!

— Мне-то что?! Одним горем меньше — тяжесть такую таскать! — Баадур выпростал из-за кушака подоткнутые полы короткой чохи, снял пояс, на котором висел подаренный Какуцей клинок, и все это передал старику.

В это время к ним подошла молодая женщина в косынке. Сноровистая, ладной стати, она наклонилась, положила руку Баадура себе на плечо и вместе с отцом или свекром подняла юношу на ноги. От боли у Баадура потемнело в глазах, он истошно вскрикнул, но, устыдившись женщины, тут же замолк.

— Ну-ка, сынок, ты тоже поднатужься, — просительно сказал старик, которому было явно не под силу, поддерживая одной рукой Баадура, другой тащить за собой его снаряжение и до краев забитый харчами хурджин. — Вон в тебе весу-то сколько!..

От женщины пахло свежее испеченным хлебом и теплом домашнего очага. Всем своим существом, до головок окружения, Баадур чувствовал этот пьянящий запах. Он готов был терпеть боль во сто крат сильнее, только бы длилось, бесконечно длилось непередаваемое блаженство, рожденное близостью женщины. Метрономный бой ее молодого сердца по невидимому токовому каналу передавался Баадуру и зажигал в нем огневое, небесное чувство, ради которого стоило появиться и жить на этой брешней, грешной земле. Набрякшее болью тело юноши всей своей тяжестью опиралось на сильное и в то же время такое мягкое женское плечо. Баадуру хотелось разомкнуть губы и сказать женщине что-то искреннее, нежное, но, увы, этого он сделать не мог: рядом шел отец или, может быть, свекор, охранявший незапятнанную честь своей подопечной, пожалуй, не хуже, чем те три овчарки, которые давеча едва не разорвали парня в клочья.

Стены дома о трех-четырех комнатах были выложены из прочного, толстого плитняка. В задней комнате, выходящей окнами с одной стороны на прибрежную чащу, с другой — на высокую горную гряду, сидели какие-то люди и в ожидании хозяина тихо беседовали. Как только Баадура ввели в прихожую, и женщина, не убирая руки, толкнула коленом тяжелую, с

большую молотильную доску, дверь, разговор сразу же прервался.

Состояние блаженной истомы не покидало Баадура. Он начал понемногу оттаивать лишь тогда, когда женщина усадила его на стоявшую в углу, забранную покрывалом тахту, осторожно перевела руку юноши через свою голову, и напоследок, пахнув в лицо ему все той же жаркой хлебной свежестью, зажгла лампу.

Баадур осмотрелся. Возле тахты, неподалеку от стола стояла чугунная печка. Довольно просторная комната посредине — от стены до стены — была перегороджена длинной ситцевой занавеской. Женщина отвернула край занавески и юркнула внутрь. Оттуда слышался шепот. За занавеской кто-то лежал. Мать? Свекровь? В любом случае женщина, конечно же, сообщила весть о позднем приходе незнакомца. Через минуту она вновь появилась, открыла печную заслонку, поворошила припудренные золой, тлевшие головешки, умостила сверху пяток маленьких, тонких лучин, опустилась на колени и стала раздувать жар. Комнату наполнил приятный пряный запах, сродни тому, который источает кадило во время церковного богослужения.

Пока женщина хлопотала подле печки, старик — с никотиновой прожелтью в короткой седой бороде, — накинув новый стеганый ватник, вынес за дверь оружие Баадура и немного погодя вернулся назад. Ничего не спросив, юноша понял, что карабин и кинжал припрятаны в надежном, скрытом от глаз месте. Тревога хозяина за себя, за семью была вполне понятна: мало ли откуда могла нагрянуть беда?! В ту пару минут, когда старик отсутствовал, Баадура вновь охватило жгучее желание заговорить с женщиной, но легкое, чуть заметное колыхание таинственной ситцевой занавески отвратило его от этой мысли.

Старик повернулся лицом к юноше и спросил:

— Как звать-то тебя, парень?

— Баадур. А по-свойски Бадурой кличут.

— Давай, Баадур, если можешь, закинь-ка ногу сюда, — старик указал на угол тахты. — Глянем, что там у тебя.

— Зачем тебе три пса, одного не хватит, что ли?

— Пастух я, сынок... А какой пастух без собак?..

Овец же надо кому-то от волков стеречь. Псов этих, всех трех, еще до теперешней заварухи я в Душети у татарина борчалинского купил... К овцам хотел их приставить, да так, видно, без дела и распаршивятся. Не до овец сейчас. Сам видишь, на семи ветрах живем!.. Да и я постарел, ноги приволакиваю, дом не на кого оставить...

Баадур снял мокрые, размякшие башмаки, стянул носки и с трудом водрузил больную ногу на угол тахты.

— Ого, эка тебя угораздило, Баадур! Разнесло так, что кости не видать. Как же теперь быть?

— Я вмиг почувял что-то неладное, когда нога поехала и подвернулась. Ничего не попишешь, судьба моя такая!

— Тамро, дочка, иди-ка посмотри на этого бедолагу! А я, грешным делом, сперва подумал: хитрит парень, провести меня хочет.

— Ох, — испустил горестный, тяжелый вздох Баадур.

Взглянув на распухшую, словно бурдюк, покрасневшую ногу, женщина ничего не сказала, только взялась рукой за подбородок и покачала головой.

— Кажется, ты, дочка, воду греешь? Запомни: вывих да испуг тепла не любят! Смочи-ка лучше холстину холодной водой, выжми и к ноге приложи... Горит, болезная, ох, как горит! Огонь да и только!.. На, потрогай... Тряпкой, тряпкой мокрой обернуть надо, да похолоднее! А наутро, даст Бог, еще чего-нибудь примыслим. Очень болит, Баадур?

— Болит.

— Крепкий ты, видно, парень, коли такую резь терпишь!

— Терплю, а как иначе, — сказал Баадур и залился румянцем. Похвала старика, тем более в присутствии Тамро, была, конечно же, приятна. Он бросил на женщину секундный взгляд, и губы его тронула легкая, полустрадальская улыбка.

— Так откуда и куда путь держишь?

— В Гудани у одного хевсура в наймах овец пас. На скотину мор навалился,дохнуть стали, а хозяин меня обвинил и рассчитал.

— Такого парня, как ты, еще поискать надо. Зря он, конечно, поспешил.

— Так уж случилось, — уши у Баадура стали пунцовыми, и он подивился самому себе: складное, однако, выходило вранье, комар носа не подточит.

— При расчете-то он тебя не обидел?

— Нет, все, что причиталось, сполна выплатил. Да и вообще, хороший был человек, не жалуюсь.

— Ты тоже не хуже, вон, как его защищаешь! А сейчас куда пойдешь?

— Работу ищу. Может, чья-то добрая душа пристроит к делу. Чабанил я немало, кое-что в этом смысле... Другим, по крайности, не уступлю. Хозяин от меня в убытке не окажется: и ягнят, и шерсть, и сыр-масло — все до крупинки сберегу!

— Ну-ну, что правда то правда! Приличных работников нынче днем с огнем не сыщешь, а ты, по всему видно, — годишься.

Старик достал чубук, набил его табаком, но раскуривать не спешил; сидел, думал какую-то свою думу, прикидывал, взвешивал. Баадур тоже молчал, время от времени поглядывая на заголенную, огнем полыхавшую лодыжку. Вдруг по телу пробежала знакомая дрожь и вместо жара он ощутил желанную, спасительную прохладу.

Сосредоточенно, без единого слова, будто у нее никогда в жизни не было занятия важнее, женщина колдовала над ногой Баадура. И хотя каждое прикосновение точеных, чуть огрубелых от работы пальцев доставляло ему адскую боль, он затаившейся птахой, доверившейся своей целительнице, готов был терпеть и терпеть эту неподвластную описанию сладкую муку.

Кончив дело, Тамро выпрямилась, отерла ладонью щеку, еще раз оценивающим взглядом, не без удовлетворения пробежалась по перевязанной ноге парня, подхватила эмалированную миску, в которой отжимала полотнище, и вышла за дверь.

— Давай, сынок, поужинаем, — участливо, по-отечески сказал старик. — На сытый желудок и заснешь спокойнее. Ты ведь, поди, с утра ничего не ел.

Хозяин угадал. После того, как Баадур покинул Хахмати и отправился на поиски повстанцев, во рту у него не было маковой росинки, хотя все это время пле-

чо юноши оттягивала полная харчей сума. Голода он не чувствовал, и если бы не старик, даже сейчас не вспомнил бы о еде.

— А, что скажешь? — спросил старик. — Здесь, на тахте и устроимся, чего далеко ходить! А потом тут же и постель тебе приготовим. Рассвет еще нескоро, петухи вон молчат пока...

Баадур не пришлось упрашивать дважды. Да и как он мог отказаться от возможности еще немного побыть рядом с Тамро, от тайной надежды перехватить хотя бы один ее ответный взгляд. С вежливой настойчивостью юноша попросил гостеприимных хозяев особенно не беспокоиться и не преминул добавить, что сума его трещит от снеди, которой хватит не только на их скромную трапезу, но и на целое свадебное пиршество.

Тамро достала из сундука новую, снежной белизны, вдвое сложенную скатерть и накрыла край тахты близ сидевшего на ней Баадур. Это не ускользнуло от внимания старика, и в глубине души он по достоинству оценил старания молодой хозяйки уважить позднего гостя. Спустя минуту на скатерке появилось по паре тарелок, стаканов, ножей, вилок, рядом аккуратно легли толсто нарезанные кружки желтоватого сыра, пучочки яркой, пахнувшей родниковой свежестью зелени, соль. Поскольку гость не отступался от намерения облегчить свои съестные припасы, приводя достаточно веские доводы, Тамро поднесла к тахте покоившуюся у дверей тяжелую суму и сразу так ловко ослабила узел, словно сама же недавно его и завязала. К терпеливо ждавшим своего часа явствам добавились круто прожаренный бараний огузок, вареная курица, сдобренные топленным маслом хачапури.

— Что же это такое получается, — слегка опешив от происходящего, но с видимым удовольствием сказал старик. — Ты в моем доме меня своим же и потчуешь?

— Не все ли равно? У еды да питья одна задача — с желудком не разминуться!

— Ну-ка, Тамро, радость моя, выставь нам водки покрепче, такой, чтобы гостю по вкусу пришлась. Промочим горло парой стаканчиков.

— А вот этого не надо! — решительно отказался



Баадур и накрыл свой стакан ладонью. Крепкие напитки в отряде Какуцы были под строгим запретом. Повстанцы — заматерелые, поседевшие кахетинские крестьяне, на вине выросшие и без него не садившиеся к столу, бывало, месяцами не брали в рот капли. Причем это требование любимого командира соблюдалось неукоснительно и охотно, ибо каждому из них сдержанность в зряшных развлечениях казалась обязательной частью того сыновнего долга перед Родиной, ради исполнения которого они готовы были положить свои жизни.

— И то верно, — согласился с Баадуром старик. — На ноге отыгаться может. Ты впрямь парень хоть куда, башковитый к тому же! Ах, чтоб мне пусто было! Тамро, доченька, табурет да тарелку принеси и к нам подсаживайся. Всю ночь на ногах, — проголодалась, небось?!

Ничего не ответив, Тамро, как при недавнем своем врачевании, окинула взглядом собранный на скорую руку ужин — все ли в порядке? — и быстро исчезла в другой половине комнаты. Мужчины молча, по-деловитому приступили к трапезе. Точно в подтверждение известной пословицы аппетит пришел к ним во время еды... Отужинав, старик крестным знаменем возблагодарил Бога за хлеб-соль, смахнул в пригоршню со стола крошки, ссыпал их в свою тарелку и начал сам убирать посуду, чтобы лишний раз не беспокоить Тамро. Но оказалось, она была начеку. Едва в неосторожных мужских руках случайно звякнул стакан, как женщина на цыпочках выплыла из-за занавески, споро переставила посуду на стол, прибрала в шкаф несъеденное мясо, сыр, яйца, хлеб, сложила скатерть и, повесив ее на спинку стула, присела на корточки перед Баадуром.

Юноша догадался, что Тамро хочет освежить на ночь примочку, и с готовностью вытянул больную ногу. Он легонько улыбнулся и снова поймал себя на мысли, которой сторонился, но никак не мог отогнать прочь: «Господи праведный, неужели она немая? Неужели Создатель так жестоко обошелся с ней, лишив дара речи?!»

Менять компресс не понадобилось. Холщовая перевязь по-прежнему держала влагу и в достаточной мере остужала вспухшую лодыжку.

Баадур привстал и в ожидании, пока Тамро расте-

лит чуть повлажневшую постель, оперся на стариковское плечо. Потом хозяева пожелали ему спокойной ночи, хотя в узкое окно со стороны арагвинских рош уже пробивался сероватый рассвет, прикрутили фитилек лампы и бесшумно вышли из комнаты. Дом погрузился в полную тишину. Вероятно, те гости, которые до прихода Баадур сидели в соседней комнате и мило беседовали, тоже уже спали. Кто же это все-таки мог быть? Чекисты? Милиция? «Если вправду они, — думал юноша, — плохи твои дела, Баадур. Ни ствола, ни ножа... Станут на куски рвать — даже жизнь свою подороже продать не удастся! Старик вроде на ихнего человека не похож... впрочем, ружье-то отобрал и с пустыми руками оставил. Нет, нет... Он бы со мной столько не цацкался... Будь там чекисты, они бы меня уже давно повязали!..»

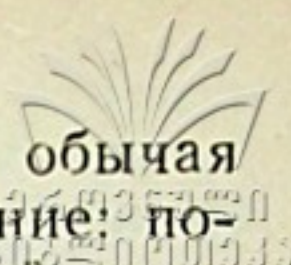
Такие вот разнобойные мысли одолевали Баадура, как вдруг дверь отворилась и в комнату своей мягкой, неслышной походкой вошла Тамро. Кровь ударила в голову парня, сердце учащенно забилося, жаром обдало виски; он почувствовал то упоительное головокружение, которое уже приникало к нему там, на дороге, когда женщина, стоя рядом, впервые закинула его тяжелую руку себе на плечо.

Это тогда. Но сейчас, сейчас за каким таким неотложным делом она вернулась назад? Не к нему ли, не к Баадуру пришла, дождавшись, пока все в доме уснут крепким сном? Догадка показалась такой вероятной, что Баадур, охваченный нетерпеливым трепетом, невольно придвинулся к стене: вот-вот, сию секунду Тамро присядет на край тахты и шепотом сообщит ему какую-то важную весть!..

Женщина тенью промелькнула между тахтой и занавеской, даже не взглянув на Баадура, легко откинула полог, скрылась внутри и больше не появлялась. Как же так? Неужели она там спала? Незнакомые друг с другом парень и молодая женщина — огниво и порох — вдвоем в одной комнате? Странное дело! Или, может быть, в Пшави это принято? Может быть, здесь, как и в Хевсурети еще не позабыли «цацлобу»<sup>1</sup>? В Кахе-

---

<sup>1</sup> Цацлоба — обычай побратимства между девушкой и парнем у горцев.



ти, родном крае Баадура, от этого старинного обычая и поминна не осталось. Ну и послал Бог испытание: по-пробуй-ка, сомкни глаза, когда рядом, за тонкой занавеской разметалось во сне горячее, молодое тело красивой женщины... Но внезапно Баадур припомнил недавний ужин, тарелки со снедью, которые Тамро носила в отгороженную часть комнаты, — и сердце у него заняло. Скорее всего, женщина была там не одна. Наверное, больная мать, а может быть, свекровь нетерпеливо ждала прихода молодой хозяйки, чтобы прижаться к ее теплым ногам и отогреть свои старые заиндевелые кости. Усталость сморила Баадура, и он незаметно для себя уснул.

Комната лучилась ярким солнечным светом, когда юноша открыл глаза. За занавеской не было слышно ни звука. Баадур согнул больную ногу, дотянулся рукой до лодыжки. Опухоль вроде бы немного опала, боль утишилась. Баадур хотел присесть на кровати, откинуть одеяло, снять уже просохшую повязку, чтобы повнимательнее осмотреть ногу, но боялся, как бы внезапно в комнату не вошла Тамро и не застала его в одном исподнем.

В коридоре раздался громкий шум шагов, приливной волной прокатившийся по всему дому. Тамро носила мягкие туфли и, словно не ходила, а порхала над грешной землей, так что Баадур, едва заслышав шаги, сразу же определил тяжелую стариковскую поступь. Дверь и впрямь отворил хозяин.

Обеими руками прижимая к груди седло, он забасил с порога своим надтреснутым, хриплым голосом:

— Проснулся, Баадур? Доброе утро! Ну, как там дела? Нога все болит, не успокоилась? Сейчас Тамро коров подоит и придет, повязку сменит, а уж, если не сегодня, так завтра на ноги тебя поставит — это как пить дать!

— Завтра? Да меня до завтра тут на привязи не удержишь!

— Чем мы не угодили, чем не понравились? Вот этого я от тебя не ожидал!

— Не понравились? Я об этом и не заикнулся, просто...

— Что просто?..



— Совесть мне! И так всю ночь со мной прово-  
зились!

— Об этом не горюй, Баадур. Мы тоже люди, в Бога верим, крест на чело кладем. Ну какой христианин тебя с этакой, одеревеневшей ногой за ворота выпустит? Чем потом грех искупить? Повремени чуток: Тамро сейчас подойдет, и я мигом обернусь, вот только пряжку к седлу прилажу.

Вернулись они оба минут через двадцать. Тамро внесла миску с холодной водой, смочила тряпку, отжала ее, присела по обыкновению возле тахты и, подоткнув подол платья, жестом велела Баадуру вытянуть ногу. Старик, подбоченясь, стоял рядом, и с восторженной надеждой, словно видел это впервые, следил за умелыми движениями сноровистых женских рук. Сегодня Тамро, несмотря на недосып, выглядела еще краше и привлекательнее. Ослепительной белизны щеки заливал нежный румянец. Из-под туго завязанной пестрой косынки выбилась упрямая прядь крашенных хной волос и при каждом наклоне головы игриво ластилась к высокому мраморному лбу. «Бог ты мой, какая красивая! — подумал Баадур. — Не карай меня, Пресвятая Дева!»

Тамро сняла повязку с ноги, чуткой рукой притронулась к заметно опавшему больному месту. Старик повернулся к Баадуру и сказал:

— Ну, сынок, поздравляю! Через два-три дня резвым иноходцем на все четыре стороны побежишь.

Баадур не нашелся, что ответить и только слабо улыбнулся. Тамро ловко, но не в пример вчерашнему, очень быстро, словно торопясь оставить мужчину одних, наложила свежую повязку, заботливо укрыла ногу одеялом, подхватила миску с водой и вышла из комнаты. Старик огляделся по сторонам, будто проверяя, нет ли кого, придвинул стул к тахте, сел и в упор посмотрел на несколько удивленного такой предосторожностью Баадура:

— Скажи мне правду, сынок, не смей темнить, — ты человек Какуцы? . .

Юношу прошиб пот. Что-что, но такой поворот событий предвидеть было трудно. Не выдержав вопро- сительного взгляда старика, Баадур отвел глаза. Ему казалось, что складно вымышленная история про свою

неудачную пастушескую долю не вызывает у старика никаких подозрений. Однако, как выяснялось сейчас, хозяин вовсе не собирался верить гостю на слово, а попросту выжидал, приискивал случай дознаться истины.

Отпираться, вязнуть в новой лжи было бессмысленно, и Баадур вместо ответа молча наклонил голову, словно говоря этим: «Прости, добрый человек, за вчерашний обман... Сплутовал я, за другого хотел себя выдать...»

Старик широко расставил колени, оперся на них руками и сказал:

— Утром Тамро решила кинжал твой почистить. Глядь — а на рукоятке имя Какуцы выбито... Кликнула меня посмотреть. Ну, тогда мы и смекнули, что ты за птица! Вчера нам ты не доверился, наплел чего-то с три короба, тебя понять можно: береженого Бог бережет! Нынче за каждым кустом не изменник, так доносчик сидит, отовсюду подвоха ожидай, одни иуды кругом! Но меня тоже так просто не проведешь. Где это видано, думаю, чтобы нерадивому работнику, да еще после расчета, хозяин в дорогу столько харчей дал?! Я уж не совсем голь перекатная, у самого поденщики овец на отгонах пасут, — и не сойти мне с этого места, если я хоть в чем-то их обижаю. Но попробуй-ка кто-либо из них что-нибудь непотребное отмочить — не спущу, мигом за порог выкину, и вместо харчей на дорогу — да простят меня небеса! — еще и добрым пинком угощу! Что замолчал? Байки мои не нравятся? Чего от отряда отстал?

— В Хахмати, за провиантом меня послали. Только коней загрузил и совсем уже было в путь собрался, как посыльный с приказом Какуцы примчался: дескать, в Акушо русские, бросай все и в Пшави пробирайся — там встретимся...

— Один ты был?

— Нет, с хевсуром Хвтисо, проводником.

— А где же он?

— И он, и лошади в Хахмати остались... Пешим ушел.

— С дороги не сбился?

— Подказали, куда и как. Близ Арагви держался, а может, то и не Арагви была, не знаю.

— Повезло тебе, малый! По дороге никого не встретил?

— Как же... шастали разные... Но я <sup>хорошился</sup> не хотелось попусту в беду встречать.

— А сейчас куда пойдешь?

— Мне отряд найти надо во что бы то ни стало. Они уже там, верно, думают, что меня в живых нет, или в плен попал... Отца жалко, изведется из-за меня, бедный!

— Родители, значит, у тебя есть?

— Да, есть.

— А сам ты, парень, откуда?

— Из Кахети. Не видно, разве? Село Цинандали... Мы, Бадурашвили, родом оттуда. Отца Шакро зовут. Может, его уже на свете нет, где-нибудь к стенке поставили и...

— Бог с тобой, сынок! Чего это тебе такое в голову лезет?

— Да Каракозов, сучья душа, начальник чека цинандальского, проходу ему не дает. Милицию, партийных натравил на отца. Все они, гады, догадываются, что он самолично меня в отряд Какуцы привел и наказал долг сыновний перед Родиной выполнить!

— Вот это мужчина, я понимаю! Не зря шапку носит! — глаза старика увлажнились и через мгновение блеснули крупной слезой. — Цены ему чет! Потому-то, видать, и ты мне сразу понравился. У такого отца худого сына быть не может... Прикинул я, вижу: у парня силы и сноровки хоть отбавляй, пусть, думаю, за овцами ходит. А оно вон как вышло...

— Мне добавить нечего, все без утайки выложил, Теперь твоя воля: хочешь — казни, хочешь — милуй!..

— В этом доме с головы моих доброхотов ни один волос не упадет, а с твоей и подавно. Если же слово колкое услышишь — разрази меня Святой Георгий! Какуца Чолокашвили — наш Бог, наша икона и надежда... Дня не проходит, чтобы мы свечу не затепляли и за победу его не молились! Так и скажи, когда увидишь! А еще привет горячий передай! Для нас человек от Какуцы — все равно что от Бога! Божий ты человек, Баадур!

Старик встал, распрямился и твердым, столь несвойственным его возрасту шагом, пошел к дверям. Ми-

нут через десять-пятнадцать в комнату вошла Тамро. В руках она держала поднос с только что приготовленным завтраком. Видимо, из боязни ненароком оступиться, женщина, глядя себе под ноги, быстро прошла мимо лежавшего на боку Баадур, поставила вкусно пахнущую снедь на стол, придвинула к изголовью больного табурет, набросила поверх накрахмаленную скатерку, перевела дух и лишь после этого уложила поднос рядом с Баадуром.

«Когда же она все наготовить успела, легла-то на самом рассвете?!» — думал Баадур, чувствуя, как сердце его наполняется щемящей благодарностью и тихим восторгом. Он стал уже посмелее, чем раньше, не сводил с женщины глаз, но безумное желание заговорить с ней по-прежнему сковывала пресловутая занавеска, неизвестно кого скрывавшая за своей ситцевой плотью.

Втайне любуясь Тамро, Баадур невольно остановил взгляд на безымянном пальце ее правой руки. В тумане вчерашнего дня он вроде бы уже видел и это обручальное кольцо, и золотые круглые сережки, вкрапленные в нежные мочки ушей, но как-то не придавал этому особого значения. Теперь все представилось по-иному. Баадур окатила тяжелая волна удушливой безнадежности. Итак, Тамро замужем! Ну, конечно, такая в девках не засидится! Кто же ее муж? Кому так посчастливилось? Интересно, по случаю она здесь, в гостях или невестка старика?

Тамро аккуратно расставила тарелки, убедилась, что все в порядке, и вновь оставила Баадур одного наедине с тревожными, противоречивыми мыслями. К завтраку старик не появился. Баадур смекнул, что тот неспроста ладил старую упряжь, наверняка собираясь в какой-то неблизкий путь, и посему не стоило ждать его скорого прихода.

После завтрака юноша откинулся на подушку и только-только окунулся в дремотную истому, как вдруг чей-то сухой кашель, перемежаемый неясной, ворчливой бранью, заставил его испуганно вздрогнуть. Сомнений не было: кашляли за занавеской. «Кто это? Может быть, ему худо и нужна моя помощь?!» — мелькнуло в голове Баадур. Он привстал, прикинул на глаз расстояние до занавески, однако вновь опасение быть за-

стигнутым врасплох Тамро в таком неприглядном виде удержало его на месте.

Кашель прекратился, но грубоватый голос, тихожий, скорее всего, на мужской, по-прежнему тихо сыпал неразборчивыми ругательствами. Баадур никак не мог смириться с мыслью, что за занавеской лежит мужчина. Откуда бы ему там взяться? Он повернулся лицом к стене, заткнул пальцами уши, закрыл глаза — только бы ничего не слышать и не видеть! И все же от его до конца не приглушенного внимания не ускользнуло, как открылась тяжелая дверь, как вошла Тамро, зашуршала занавеской, вышла, затем снова вернулась... Видно, она хлопотала подле больного, хлопотала ревностно, усердно, безропотно снося его капризное брюзжание.

«Спать, спать!» — мысленно приказал себе юноша. Он очень не хотел невзначай натолкнуться на растерянный взгляд Тамро. Баадур казалось, что это расстроит ее еще больше и даже вызовет острую неприязнь к нему — случайному, безмолвному свидетелю всей этой неловкой сцены.


День отзвенел в зените, пошел на убыль, горизонт подернулся закатной мгlistой дымкой — а старик все не появлялся. Тамро припозднилась с обедом, наверное, оттого, что так же, как и Баадур, упорно ожидала хозяина. Уже свечерело, когда она наложила на ногу юноши свежую повязку, а затем спроворила ему тут же, на табурете, горячую закуску.

«Самое время дать отсюда тягу! — думал Баадур. — Главное — старика нет. Дождусь, пока этот лазарет притихнет, Тамро придремнет, в полночь тихонько встану и... А оружие? Оружие где искать? Черт бы побрал этих собак!» И он ясно понял, что пребывать ему в заточении до прихода старика, без него он шагу ступить не сможет, если, конечно, не хочет попасться на зуб озверелым волкодавам.

Единственной доброй душой, на помощь которой так или иначе Баадур смел рассчитывать, оставалась Тамро. Но как заговорить с ней, как оказаться с глазу на глаз, да и захочет ли она ради него пойти против воли отца или свекра?

Мысли, одна другой напористее, вновь взяли Баадура в осадное кольцо, не дав сомкнуть веки до самой





полуночи. Где это запропастился старик? Неужто он не сказал, куда идет и когда вернется? Тамро, наверное, легла спать, так и не дождавшись его... Вроде не сплю, а вот, поди ж ты, проглядел!.. Баадур досадливо ухмыльнулся, как вдруг протяжно закрипела дверь и в комнату вошла Тамро. Она на цыпочках приблизилась к тахте, поставила на табурет кувшин со свежей родниковой водой, умерила до слабого свечения огонь в лампе, и, словно подхваченная ветром сухая былинка, легко порхнула за занавеску.

У Баадура осеклось дыхание, встрепенулось, забилося, норовя выскочить из груди, сердце. По недосмотру Тамро не зашторила занавесь до конца. В сумеречном проеме Баадур видел, как она изогнулась всем телом, сбросила платье, затем короткую, подбитую каймой нижнюю рубаху, откинула одежду вместе с носками куда-то в сторону и, сняв пеструю косынку, рассыпала по обнаженным покатым плечам золотистые волосы. Баадур силился отвести взгляд, но, словно примагниченный, из-под полуприкрытых ресниц продолжал наблюдать за женщиной. Тамро положила на низкую скамью сережки, кольцо, перекрестилась и, торопливо отшептав молитву, нагишом юркнула под легкое одеяло к тому, кто лицом к стене лежал на кровати.

Похоже, он крепко спал, но как только почувствовал прикосновение женского тела, разом проснулся, буркнул что-то нечленораздельное, распрямившейся пружиной перебросился на спину и жестким движением руки столкнул Тамро с кровати на пол.

Баадур зажмурил и снова распахнул глаза. Боже праведный, да что ж такое творится?! Человек или зверь лежит в этой треклятой постели? Не иссохшая наполовину, немощная старуха, а подкошенный тяжелой хворью своенравный, бессердечный муж, в существование которого ой как не хотелось верить?!

Прильнув к занавеске, Тамро понуро сидела на полу и жалобно всхлипывала, пока, наконец, не заплакала навзрыд.

— Пошла! Убирайся отсюда, чтоб мои глаза тебя не видели!.. — кутаясь в одеяло, рычал мужичка.

Баадур не находил себе места, крутился, что твой вертел на огне, невольно сжимал кулаки и готов был покарать обидчика самой крутой карой. «Убью, удушю

подлеца! Ишь, как насел. Цены ей, мерзотник, не знает! Не нравится — отстань... другие радители найдутся! Тебе же, мозгляку, хуже будет! Мать честная, что же это было? Кто рассказал бы — ни в жизнь не поверил! Ничего, ничего, отольются тебе еще эти слезы, гнида болотная! Таким сокровищем, такой женщиной помыкать... Насулил, видно, беззащитной, золотые горы, а теперь прихоть свою тешишь, измываешься над страдальцей!..»

Светало, когда хозяйские псы подняли оглушительный лай и сломя голову по косогору бросились вниз. Через минуту яростная собачья разноголосица захлестнула всю округу: наверху, в селе, неусыпные сторожа рьяно поддерживали своих сородичей. Баадур настороженно прислушался. Зря овчарки не всполошились бы. Значит, из заречной низины к дому кто-то поднимался! Но кто, друг или враг? Мало-помалу сатанинский лай во дворе перешел в ленивое потягивание, а потом и вовсе стих. «Не иначе как псы признали в раннем прищельце хозяина... примолкли, скулят виновато, трепки побаиваются, — рассудил Баадур и, довольно потирая руки, заключил: — Так, старик наконец-то воротился... стало быть, близка моя воля!..»

Юноша снова попытался заснуть. Сон все не шел. Он видел, как, поблескивая золотыми сережками и поправляя пеструю косынку, выбежала навстречу хозяину Тамро: наверное, помочь ему спешиться.

— Баадур, сынок, перебили тебе сон эти зверюги... К их лаю непросто привыкнуть. Соседи уже проходу не дают: когда псов своих заберешь, когда ушам нашим покой будет? — завелся с порога старик. Он присунул к тахте табурет, который так исправно служил Баадур за обедом, сел и стал набивать трубку. — Ну как там твоя болячка, сможешь на ноги встать?

— Да уж должен, нельзя мне по-иному... — вздохнул Баадур, поникшим сердцем предчувствуя неотвратимость скорой разлуки с Тамро.

— Какуца-то в Кахети подался, во всяком разе ни в Пшави, ни в Картли его уже нет.

— Откуда такие вести? — Баадур посмогрел на старика округлившимися от удивления глазами, привскочил на постель и свесил ноги вниз, будто сию минуту отправлялся на поиски своего командира.

— Есть у меня верные люди в Сагурамо и Чопорти, они и сообщили. По дороге отсюда Какуца в Чаргали остановился, переночевал там; так, говорят, народ его — все, от мала до велика — в пути хлебом-солью встречал, поклоны до земли бил. А русские, раз Какуцу не удалось заарканить, на Хевсурети навалились: мы вас, дескать, мятежников, в порошок сотрем... Сначала по Шатели прошлись, а когда узнали, что кистяны — враги наши вчерашние, грузинам подмогу готовят, туда перебросились... Все села восставшие пожгли, слушников поарестовывали. Судя по слухам, назад они не вернутся... Или в Кахети по Панкисскому ущелью за Какуцей кинутся или через хребет к чеченцам и ингушам перейдут—вроде бы там тоже беспокойно... Я вот что своим малым умишком решил: хоть Бог и милостив пока, оставаться тебе здесь для нас обоих опасно. Свезу-ка я лучше тебя в горы к пастухам. Укроешься там, а мы тем временем точно разведем, где, в каком месте Какуца держится. Ну, а потом ты сам знаешь, что делать!

— Пастухам можно довериться? У большевиков нынче всюду свои люди есть. Может быть, мне сразу сейчас же в Кахети отправиться? Как-никак родная земля, на ней меня ни зверь, ни птица не выдадут!

— Коли и так, все равно, туда сейчас трудно пробиться: дороги, сынок, перекрыты, на всех перекрестках солдаты стоят, прохожих обшаривают, документы сличают... Горе тому, кто им не приглянется — мигом в чека спровадят. По селам и того хуже, в каждом каратели лютуют... В дома врываются, последнее отбирают, женщин и девушек малолетних... Без стыда и совести... Эх, управы на них нет! Только из Чаргали, раз там Какуца ночевку устроил, четырнадцать мужчин и десять женщин увели. Поди разберись, кто среди них правый, кто виновный?! До темноты еще далеко. За это время, Баадур, авось и нога твоя почти совсем отойдет... А если кто нежданный нагрянет — псы мои насто-роже, во двор так просто не пустят, спрятать тебя успеем. К ночи коней заседлаем и — с Богом! Луна поздно всходит, опять же нам на руку... А, что скажешь?

— Дурного ты мне не желаешь, сам вижу, значит, будь по-твоему!

— Ну, тогда на том и порешим! — развеселился

старик, обрадованный уступчивостью своего собеседника. Скорее всего, в предложении хозяина таился немудреный крестьянский расчет. Да, он искренне хотел отвести смертельную угрозу от этого милого, славного парня, но и не думал, что прогневит Бога, если вместо тягостного, бездельного ожидания приищет случайному постояльцу какое-либо полезное занятие. Пастухи нынче на отгонах не задерживались подолгу — в смутное время всех тянуло домой, да и плату подчас просили они непомерную. При таких передрягах заполучить хорошего чабана, пусть даже на два-три месяца, было непросто, и кто мог осудить человека за нежелание отказываться от подобного подарка судьбы?!

«Ах ты, скаредник трухлявый!» — раскусив намерение старика, незлобиво выругался в душе Баадур, но внешне виду не подал и, чтобы не обидеть хозяина своей неучтивостью, с благодарностью принял предложение. Пуще всего другого он сейчас страшился расставаться с Тамро. Признаваться в этом не хотелось даже самому себе, но женщина, с которой и поговорить-то ни разу не удалось, стала ему необыкновенно близка, особенно после событий минувшей ночи, после того, что он видел и слышал. Уже под утро, проваливаясь в мягкую дрему, сознание Баадура завихрилось в круговороте самых невероятных представлений. Помимо собственной воли он вдруг вообразил, что объяснился Тамро в любви, объяснился неистово, пылко — не жить мне без тебя! — и, о чудо, услышал взаимное признание. Тут же они наметили план будущей жизни. Первым делом нужно было потихоньку сбежать отсюда. И вот, выбрав момент, когда старик отлучился из дому, Тамро в неприметном, сером полушалке вышла во двор, заперла в хлеву четвероногих злодеев, принесла начищенный до блеска кинжал, ружье, по которому Баадур так соскучился, и вывела взнузданных лошадей. Они сели верхом, резвой рысью тронулись в путь и, проскакав всю ночь, уже отрешенные от мысли о вероятной погоне, где-то возле матанского, то ли мукузанского леса разыскали-таки, наконец, лагерь Какуцы. «Ты что, порядки наши не знаешь? — нахмурил брови Какуца, которого вовсе не обрадовало появление Баадура, его воскресение из мертвых. — Женщинам в отряде места нет, да и нежиться с ними в постели нечего до тех пор,

пока Родину от врагов не очистим! Ясно тебе это или нет?» — «Ясно», — уныло кивнул головой Баадур, но не выпустил из своей крепкой ладони хрупкую, доверчивую руку Тамро. — «А если ясно, чего же тогда привел?» — вновь грозно сверкнул глазами Какуца. Баадур стушевался и лихорадочно принялся искать ответ на этот вопрос, однако так и не нашелся, что сказать, потому как ни в его опьяненной любовью душе, ни в самой природе должного ответа просто не существовало.

Наступило утро, и вместе с первыми солнечными лучами хаотичные, болезненные видения стали постепенно рассеиваться, а после разговора со стариком к утвердившемуся в окончательном решении Баадуру вернулась четкая строгость мысли. Трезвый, холодный расчет взывал к разуму, и по всему выходило, что Тамро — замужняя, венцом осененная женщина, втянутая в суету семейных хлопот, ровным счетом не имеет ничего общего с ним, — неприкаянным холостым парнем, которому бы попросту следовало смирить эту некстати разгулявшуюся в жилах вековечную, плотскую страсть. Днем, когда Тамро несколько раз заходила в комнату, и даже, как показалось Баадуру, большей частью по пустяковым делам, он так и не взглянул на нее. Но все равно почему-то ловил себя на мысли, упорно отгоняемой и с таким же упорством возвращавшейся назад: «Узнать бы, заметила она перемену во мне? Нет, нет, прочь от лукавого! Погубят меня мои думы... Два-три дня — и все стает, как прошлогодний снег, будто бы и не было ничего!»

Во дворе снова загавкали собаки. Появись на дороге крохотный муравей — они, наверное, облаяли бы и его. Баадур встал, натянул связанные Тамро теплые, гарусные носки, с трудом втиснул ноги в башмаки и прошелся по комнате. Взад-вперед, взад-вперед... Раздраженно посмотрел на занавеску: «И чего он там, грешная душа, разлегся? Вышел бы, делом занялся! Что с ним, может и вправду калека убогий? Калека, а жену вон как с кровати турнул!» Пусть не напрямую, но это опять была мысль о Тамро. Как ни старался Баадур забыть женщину, она по-прежнему не выходила из головы.

Когда солнце исчезло из виду, повеяло прохладой,

а на ущелье легли огромные синие тени, свекор с невесткой вышли во двор, поймали двух псов и засунули каждого в отдельные проемы холщового хурджина. Сделать это удалось не сразу. Не желая мириться с участью острожников, псы отчаянно сопротивлялись, предостерегающе скалили зубы, и неизвестно, чем бы кончилась эта затея, если бы не сноровка Тамро, помноженная на чабанскую многоопытность старика. Он некрепко затянул тесемки, и теперь из хурджина, переброшенного через круп длинноногого гнедого жеребца, торчали только недовольные собачьи морды. Третий пес сиротливо бегал вокруг коня, вставал на задние лапы, царапал ему когтями брюхо и, высунув кроваво-красный язык, непрестанно скулил, словно силился доказать хозяину, что без своих единокровных братьев он часу не протянет, окочурится от тоски и одиночества.

— Пошел вон, — с напускной сердитостью цыкнул старик и тут же перешел на ласковый, вкрадчивый тон: — Ну что ты под ногами путаешься, палки захотел?.. Или не терпится с волками схватиться? Взял бы, да жалко, щенок ты еще, загрызут тебя серые разбойники!..

«Эге, если это щенок, то я кто?.. Не иначе, как нашенский Маркоза! — подумал Баадур и улыбнулся, вспомнив ни с того, ни с сего своего верзилу-односельчанина. — Гм, как же, щенок!.. Дракон да и только! Всадника с лошади скинет на полном скаку...»

До летнего кочевья, где у старика паслись отары, они добирались без малого всю ночь. В пути Баадур нет-нет да и охватывала опасная сонливость, и он непременно вывалился бы из седла, если бы всякий раз, спохватившись, не успевал вовремя крепко вцепиться в поводья. Луна светила вовсю. Старик спокойно трусил впереди по знакомой сызмальства дороге и с такой рискованной легкостью огибал глубокие расселины, что у Баадур, выросшего на алазанских равнинах, от страха душа уходила в пятки. Как ни крути, а достаточно было оступиться коню или самому нечаянно задеть ногой за острый выступ скалы — и внизу, в зияющей черноте очередного прорана тебя уже ждали неприятности куда покрупнее! Старик время от времени останавливался, охлаживал лошадь, отдыхал сам и перекликался со своим подотставшим молодым спутником:

— Эгей, Баадур!..

— Здесь я, здесь.

— Спать не хочется, сынок?

— А если и хочется, где ж мне тут прикорнуть?!

— Еще немного — и прибудем! Вон за ту гору переберемся. Потерпи, а там хоть целый день спи, никто не помешает. Ну, с Богом! Но, но...

— Давай, я за тобой.

Они перевалили через высокую гору и спустились в дремучее густолесье. Сосны вперемешку с остролистыми кленами вплотную подступали к самой тропе. У поворота, из-под земли, покрытой белесым, солончаковым налетом, пробивалась вода и собиралась в грязную лужицу. Поравнявшись с ней, разгоряченные лошади пристоновились, нагнули шеи, потянулись мордами к влаге. Баадур резко качнулся вперед, но тут же грузно осел на твердое, как камень, ложе седла и торопливо дернул узду на себя: тпру, волчья сыть, куда на погибель свою лезешь?!

— Смотри, как употели... Простынут пусть, Баадур. Да и вода эта им на пользу не пойдет, в дороге бы чего не вышло!

— То-то и оно. Далеко еще?

— Полчаса от силы, не больше!

Пастухи, темными точками мелькавшие среди белопенного овечьего моря, первые заметили стремительно скакавших в гору всадников. Пригляделись, узнали в них своих и, радостно засуетившись, стали спускаться навстречу по изумрудно-зеленому отлогому склону. Оживление пастухов, помимо всего прочего, объяснялось еще и тем, что их оскудевшие съестные припасы нуждались в срочном пополнении: соль и мука, которые, без сомнения, привез хозяин, оказывались весьма кстати. Впереди — уши стоймя, хвост дугой — неслись во всю мочь, кувыркаясь на бегу, вислозадые овчарки размерами с добрых телят. На их неистовый лай стыдливым, застенчивым тьяканьем сразу же откликнулись укупоренные в хурджин собаки старика. Пастухи принялись утихомиривать разошедшихся псов. Один — седой, с морщинистым лицом, сухопарый, сутуловатый мужчина — все норовил огреть посохом серого, увертливого волкодава, другой — молодой, черноволосый бородач — с грозным гиканьем запустил клюку в самую гущу со-

бачьей своры. После такой взбучки псы поутихли, к тому же они поняли, что напрасно драли глотки, лаяли на своих, и теперь их беспокоило только внезапное появление собратьев, в которых они видели нежелательных соперников.

Сутуловатый пастух снял с головы нахлобученную по самые уши мохнатую шапку, отряхнул ее, словно недавно побывал под дождем, и плечом оперся на посох.

— С благополучным прибытием! Какие вести? Что там в долине, все спокойно?

— Да где уж сейчас спокойно, Тедо, — ответил старик, похлопывая по холке взмыленного коня. — Доброго вам здоровья! Надо же такое — собаки хозяина не признают, чуть не загрызли!.. Тьфу, мир, что ли, перевернулся?! Как, пушки палят еще?

— Ухнуло вчера раз-другой, мы с Пето слышали. Сегодня, вроде бы, пока тихо. Что творится, люди добрые... Объясните, ради Бога, кто с кем воюет? Чего еще большевикам надо? Жордания скинули, сами, как хотят, правят... Неужто теперь нас со своей земли согнать вздумали?

— И за этим дело не станет, попомни мое слово, Тедо! Тюрьмы переполнены, кровь безвинная потоками льется... Русским частям удержу нет, Орджоникидзе и Орахелашвили у них за главных... Рыщут, Какуцу Чолокашвили хотят изловить живого или мертвого; в клетку посадить и так Ленину в Москву отправить!..

— В клетку? Живого или мертвого? Ну ты и сказанул! Это они-то Какуцу поймать собираются? Кишка тонка! Не дастся им в руки Какуца. умрет, а не дастся!

— Тедо, дивлюсь я твоим словам! Мелешь языком, что на ум взбредет, про чужого человека рядом не думаешь... Почем знаешь, может, меня бес попутал и я к вам чекиста приволок?!

— Э, темного человека ты бы сюда не привез, а что до чекистов и партийцев разных, так ты их больше моего ненавидишь!

— А может он меня силком заставил, оружием пригрозил, и сейчас нарочно язык тебе развязывает, распознать хочет!..

— Ну и пусть хочет! Что сказал, то сказал, с меня спросу нет.



— Ага, похоже, ты и вправду поверил, струхнул малость. Товарища я вам нового привез, кунака, как татары говорят. Из Кахети парень, цену труду знает. Сам назовется, когда познакомитесь да сдружитесь. Говорит, что чабан из него не ахти какой, но и других не хуже. Ничего, подучится с вашей помощью, а в долгу тоже не останется. Или может вам не по нутру третий товарищ?

— Нам? С чего ты взял? Там, где вдвоем справлялись, троим еще сподручнее будет, работы на всех хватит. Да и ружье у него — не то что наша берданка... От одного виду зверье хищное разбежится!

— А ты, Пето, чего в стороне топчешься, нос воротить? Обидел кто, племянник?

— Что скрывать, Бачана, разговор у него к тебе непростой, начать не решается, меня вот попросил.

— Толком сказывай, нечего пустословить!

— Рассчитаться он хочет и уйти, совсем уйти.

— Э, новость, конечно, не из приятных, — протянул старик, пытаясь скрыть недовольство. — Что, жалования, может, маловато? Думаешь, другие больше дадут?

— Жениться он собрался, Бачана, жениться, — вновь ответил Тедо вместо молчавшего парня, который то и дело тоскливо поглядывал на добротное воинское снаряжение Баадура. — Осенью, как урожай уберем, так и повенчаются, слово дал.

— Это правда? — теперь уже напрямую обратился Бачана к Пето.

— Угу, — буркнул тот и, понутив взъерошенную голову, ткнул башмаком длинный сучковатый посох.

— Ну что же, грех перечить. Мужчина должен создать дом, раз время пришло. Бог в помощь! Я тебе еще и гостинец приготовлю. В общем, доводи дело до конца, венчайтесь, и возвращайся назад — семью-то надо кормить! Мы с Тедо тут будем тебя ждать, никуда не денемся.

— Посмотрим...

— Чего смотреть да раздумывать? Плата невидная? Добавлю, не сойти мне с этого места! В обиде не останешься. Или забыл, чьих овец пасешь? Отец мой, Цкипа, Бачаной меня нарек... И ты вроде бы до сих пор на Бачану не сердился!

— Как можно, дедушка Бачана!..

— А коли так, тогда и говорить не о чем! Вернешься — копейки с тебя не скину за отлучку, чего еще хочешь!

— Вот это да! — одобрительно выдохнул Тедо.

— Когда ехать думаешь?

— А хоть и сегодня. — Пето повеселел, метнул просветленный взгляд сначала на Тедо, потом на Бачану, словно выясняя, на полном ли серьезе беседует с ним хозяин.

— Хорошо, стало быть, вместе отправимся.

— Вместе так вместе, лишь бы ты обиды на меня не держал!..

— Да нет... какая обида... — поморщился Бачана, у которого на душе кошки скребли, но выставлять свою досаду напоказ перед посторонним человеком было негоже, и он, посчитав дело решенным, вновь повернулся к Тедо: — Ну, а овцы как наши, в числе не поубавились?

Тедо склонил голову набок, хитровато прищурил глаз и выбросил узловатый указательный палец в сторону Пето:

— Это ты у него спроси.

— Были здесь мужики какие-то... — после неловкого молчания нехотя, через силу разомкнул губы Пето. — Отрядники мы, говорят, Какуцы... Харчей попросили... Что делать оставалось?.. Дали мы им творога немного, масла топленого да трех барашков. Барашков они здесь, прямо при нас забили, разделали и на лошадей погрузили.

Эта новость тоже не пришлась Бачане по душе, однако и теперь он сохранил видимую невозмутимость.

— Если и впрямь люди Какуцы пожаловали, пусть им все на пользу пойдет! Лишь бы не проходимцы и паскудники разные, сейчас таких не счесть по дорогам швыряет... Какуциным именем прикрываются, оружием бряцают и народ, как липку, обдирают. Но три барашка — это вы уже через край хватили! Могли бы и двумя обойтись.

Мужчины расположились в приземистом каменном домишке близ кошары. Почерневший от вечных дождей, крытый легкой дранью, он плохо держал тепло, и пастухи, чтобы не окоченеть ночью от холода, порой за-

водили в тесные комнатухи малых пушистых ягнят. Бачана придирчиво осмотрел каждый закуток своего хозяйства, запустил руку в кадушку, попробовал на вкус сливки, понюхал извлеченный из квашни сыр и только после этого, поужинав и отправив молитву, прилег у голой глухой стены на толстую бурку, запахнулся сверху длинной полкой и заснул праведным сном набаловавшегося за день ребенка.

Утром — еще и солнце не взошло — овцы медленно поплыли через открытые ворота кошары на задраенный плотным молочным туманом выпасной луг. Чуть погодя Бачана взнуздав лошадей, взгромоздил на них тяжелые кули, кликнул Пето, который безотчетно радовался скорой встрече с любимой под крышей родного дома, и они, трижды перекрестившись, верхами тронулись в путь.

Хотя Баадур понимал, что здесь, среди верных людей, ему ничего не угрожает и вряд ли до стойбища доберутся чекисты либо русские солдаты, все же раскрываться полностью не решался, а вел себя так, словно он, бездомный бобыль, как и постаревший в чабанах Тедо, поднялся сюда только лишь ради куска хлеба. Пока обстоятельства складывались наилучшим образом: собаки по привычке к Баадур и, беспрекословно подчиняясь, исправно несли сторожевую службу; недавняя адская боль в лодыжке улеглась, опухоль сникла, однако прихрамывал он еще заметно, благо — посох вполне заменял костыль.

На второй или третий день за завтраком у большого зеленоватого валуна, возле которого пузырился хрустальный родник, Баадур осторожно спросил Тедо, кто да откуда были люди, назвавшие себя чолокашвилевцами и оттого так щедро наделенные съестным. Тедо обрадовался выпавшему случаю поговорить вволю, охотно, в подробностях описал их одежду, снаряжение и под конец заключил, что, судя по всему, люди это были, конечно, неместные.

Якобы вполуха слушая Тедо и для отвода глаз энергично ворочая челюстями, на самом деле Баадур тщился по вероятным приметам распознать среди описываемых людей кого-нибудь из своих отрядных товарищей. Обычно за провизией Какуца посылал одних и тех же парней, чаще — с проводниками, хорошо

знавшими тамошние места, такими, например, как хевсур Хвтисо Циклаури. Но то-то и оно, что ни один из этих парней ни по каким меркам не подходил под описания Тедо.

Баадур призадумался. Черт побери, может и правда, неизвестные пришельцы объегорили пастухов — ясак взяли да еще Какуцу сюда приплели?! Но почему же обошлись такой малостью? Ведь на пол-отары могли позариться, масло и сыр подчистую выскрести, никто не мешал... Ага, вот оно в чем дело: скорее всего побоялись, что тогда обман раскроется и Какуца тут ни при чем! Он-то все равно рано или поздно об этих плутнях прослышит, несдобровать потом жуликам — из-под земли достанет! Бывало уже. А мало забрали — вроде бы и на правду похоже!..

«Верно старик прикинул, — размышлял Баадур. — Враг на носу, а Какуца своих людей за харчами в горы посылает? Не мог он этого сделать, ни ребят, ни себя не мог под удар поставить! Меня вон в Хахмати зря, что ли, предупредил: бросай, мол, все добро, сам целым возвращайся? Ясно, кто здесь воду мутит. Подлецам этим в нынешней суматохе лишь бы брюхо успеть набить, людскую беду на свою корысть обернуть... Пусть попробуют еще раз сунуться — я их такими барашками угощу, не обрадуются!..»

Баадур сидел на пригорке и смотрел, как овцы, белыми ватными комочками рассыпавшись по всему пастбищу, мирно щиплют сочную траву. Рядом в ногах парня лежал карабин — и не приведи господь заявиться в этот момент каким-нибудь непрошеным гостям! Дурные мысли стали потихоньку рассеиваться, на смену им пришло мягкое чувство отдохновения, знакомое по далекому детству, когда он, босоногий мальчишка, вот так же любил подолгу глядеть на зеленую луговину — кормилицу крестьянской живности. В такие мгновения Баадуру всегда казалось, что все сущее на свете держится за счет земли, и все эти божьи создания — коровы, овцы, лошади, — припадая к ней, напитываются целительными токами необыкновенной, животворящей силы.

Овцы трудились вовсю, словно острой бритвой выбривали пологий склон, кучно переходили с места на место и оставляли за собой сизоватые, почти совсем го-

лые островки земли. Не верилось, что пятью-десятью минутами ранее здесь зыбилась возвращенная буйными дождями молодая трава.

— Эгей, Баадур!..

— О-го-го!..

— Где ты, парень?

— Тут я, тут!

— Давай подходи, не голоден?! Такая каурма получилась, — пальчики оближешь!

— Не хочется пока, дядя Тедо. Ты ешь, раз проголодался, я потом...

Баадур осекся на полуслове, вздрогнул, точно ужасенный, изумленно помотал головой и уставился на лесную тропинку, по которой обычно овцы гуськом спускались в ложбину к водопою... Мать честная!.. По тропинке шла женщина. Привиделось, что ли?! Женщина! Откуда ей взяться в этой глуши? Баадур отбросил посох, потянулся было к ружью, как вдруг женщина, — не привидение, а самая настоящая женщина во плоти, с золотыми каплями серег в бархатных мочках ушей, громко воскликнула:

— Чего испугался, Баадур? Тамро я, Тамро!..

И без того до крайности опешивший Баадур смутился еще больше. Мгновение назад он думал именно о Тамро, и провидение Божье обратило мысли в явь: Тамро, какой она представлялась ему каждую минуту, каждую секунду, была рядом. С тех пор, как Баадур покинул усадьбу старика, дня не проходило без мыслей об этой женщине. Ее образ накрепко впечатался в сердце парня, и ночью ли, днем, при малейшем, самом незначительном воспоминании щеки у него горели жарче, чем раскаленные боковины тонэ.

— Я это, я, Тамро, приглядишься хорошенько! — издалека певуче протянула женщина, приблизилась и, скрестив руки на груди, остановилась шагах в пяти от Баадура. — Не разбудила я тебя? По правде сказать, соня ты, каких свет не видывал! Ружье-то убери, выстрелит еще, окаянное!

— Тамро, ты это, или мне причудилось? — Баадур протер глаза, положил карабин на траву и встал на ноги.

— Ты что, парень, и впрямь меня не узнаешь?

— Каким ветром тебя сюда занесло? Крылья выросли, или, может, орел похитил?..

— Орел не орел, но ястреб точно! По чернику мы с женщинами в лес пришли...

— А где же они?

— Неужто хочется, чтобы и они здесь оказались? Внизу оставила, у Чертова брода... сама сюда поднялась, вспомнила: кошара наша где-то в этих местах. Однажды мы со свекром муку и керосин пастухам привозили. Дай-ка, думаю, взгляну на овец, как они там... чего там!..

— Так ты только из-за овец в такую даль пустилась, обо мне даже не вспомнила?

— Чего ради... Я о тебе и думать забыла!

— Язычок, однако, у тебя... А мне сдавалось — немая ты...

— Я?.. Немая?.. Гм... Еще что скажешь?..

— А то скажу, что равной тебе девушки ча всем белом свете не сыщешь, провалиться мне сквозь землю, если вру!..

— Смотри на него, как осмелел, бесстыжий! Эй, парень, здесь тебе не твоя Кахети... Цинандали или еще чего там!..

— Сколько бы ты ни бранила меня, сколько бы ни кляла, как бы ни сердилась — все равно не обижусь!

— Это почему же?

— Сама знаешь, почему.

— А все же, все же?

— Потому, что нет в твоём сердце злобы ко мне. Губы одно твердят, а душа — другое!

— Тише! Совсем стыд потерял... говоришь такое... А я-то думала, пайнька ты у нас... Нога как, поправилась или болит еще?

— После твоих рук как же она болеть-то будет! — в подтверждение этих слов Баадур так сильно притопнул ногой, что надсадная боль молнией прометнулась по всему телу и тяжело осела в уголках потемневших глаз.

Тамро, не заметив этого, наставительным тоном произнесла:

— Ты особенно не храбрись, оно повториться может.

— Ну и пусть повторится, из-за тридевяти земель к тебе прибегу! Двери откроешь?

— Тише, парень, тише, чепуху городишь. Не услышал бы кто!.. Как же, жди, двери я ему открою!.. Да я тебя на порог не пущу!

— Тамро, скажи, положи руку на сердце, сюда ты зачем пришла?

— А ты случайно не глухой? Я же сказала: чернику женщины собирают, чернику, понимаешь... Дошло теперь или еще раз объяснить?

В этой словесной перепалке Тамро и Баадур невольно приблизились друг к другу почти вплотную. Юношу прошиб пот, на щеках выступил горячий румянец. Он был на целую голову выше Тамро, коршуном смотрел сверху вниз и, казалось, вот-вот подхватит женщину, взовьется с ней к пористым, клочковатым облакам, медленно плывшим в голубом просторном небе.

— Ну что ты так на меня смотришь? — поправляя выбившуюся из-под косынки прядь волос, спросила Тамро.

— Выходит, уже и смотреть нельзя?

— Можно, только каждый пусть своим тешится!

— А если мне, кроме тебя, не на кого больше заглядываться?!

— Ты обо мне дурного не думай, я не из тех женщин!

— Вот возьму украду тебя и увезу далеко-далеко!

— Ты в своем уме? — Тамро постучала по лбу согнутым пальцем. — Или отсюда уже все вытекло?

Баадур подался вперед, протянул обе руки, прижал женщину к груди и посмотрел ей в глаза. Тамро не отстранилась, тихо, раздумчиво спросила, скорее всего, адресуя вопрос самой себе:

— А как же муж?

— Не любишь ты своего мужа, Тамро.

— Да разве в любви дело! Под венцом мы оба стояли, нельзя нам теперь разлучаться! Не читал, что в писании говорится?..

— Коль ты такая праведница, чего же тогда за нелюбимого пошла?

— Судьба! У кого что на роду написано!.. Волю Божью не переиначишь. Значит, выпала мне такая участь...

Баадур обвил рукой шею женщины точно так же, как это случилось при первой их встрече, когда она пришла ему на помощь.

— Но-но!.. — Тамро уперлась локтями в грудь парня, попыталась освободиться из цепких мужских объятий. — Сказала ведь, я не той породы...

— С кровати зачем тебя турнул?

— Кто?

— Так уж и не знаешь, о ком говорю!

— Тебе-то откуда известно?

— Откуда, откуда... сам видел, вот откуда!

— Не спал?

— Где уж заснуть-то было!

Тамро, мгновение назад пойманной птицей норотившая ускользнуть от Баадура, как-то обмякла, поникла, бессильно опустила руки вниз и прильнула горячей щекой к его вздымавшейся груди.

— Лучше с дьяволом жить, чем с ним, прости Господи! Угораздило же меня под несчастливой звездой родиться — голову прислонить негде!.. Раньше еще надеялась, молилась, что ни день, все думала, может, успокоится... уймет эту ревность свою поминутную: я, дескать, здесь лежнем лежу, а тебе горя мало — блудишь с кем попало... Словно я виновата, что он с этой кровати, будь она трижды проклята, не встает! Увещевают меня все, свекор, — тот первый бисером рассыпается: мол, раз уж столько вынесла, потерпи еще немного... не рушь семью... не бросай нас, в шелках ходить будешь, в башне хрустальной поселим... Что правда то правда — в парчу меня одели, золотом-серебром осыпали, комод доверху забит. Случая не было, чтобы у еврея-лоточника обнову мне какую-нибудь не купили... Только зачем оно мне надо? Сколько можно терпеть, да и кто муки мои оценит? Надоело каждую ночь дрожать, бояться, как бы не придушил... Сила у него воловья, — даром что в постель слег... Ой, Боже правый! Я уже и сверстниц своих десятой дорогой обхожу: перешептываются, смеются вслед!..

— Тамро, счастье мое нежданное, милость нежданная! — нежно шептал Баадур. Он иступленно целовал женщине лоб, глаза, шею, ласково кудрявил мягкие, шелковистые волосы. «Да погоди ты, неумный, я сама», — чуть слышно произнесла вконец растаявшая



Тамро. Губы их слились в страстном взаимном поцелуе, все вокруг закружилось, поплыло перед глазами и они оба провалились в жаркую блаженную пустоту.

— Господи, что же я наделала!.. — испуганно проговорила Тамро, собирая в тугой пучок волосы и глазами выскивая куда-то задевавшуюся косынку. — В таком заляпанном платье как теперь женщинам показаться, сразу ведь все поймут!..

— Тамро, скажи, что все это правда, и мне ничего не приснилось!

— Хорошо, хорошо, дай волосы прибрать, не сидеть же такой растрепой. Ой, и пуговицу оторвал... Да тебя близко подпускать нельзя, негодник!

— Бранишься-то зачем, что я такого сделал? А волосы не трогай, не надо, — так ты еще красивее!

— Угу, только вот красоты моей, кроме тебя, почему-то никто не заметил.

— Злые они все, злые и завистливые... Чужая краса им камнем на душу ложится. Кто же тогда, если не ты, пригожестью похвалиться может?

— Ладно,пусти, задержалась я долго... Неровен час, учуют женщины недоброе — пересудов потом не оберешься!

— Ну и пусть учуют, я тебя в обиду не дам, хоть саблями меня кроши на куски! Клянусь, не дам я тебя в обиду!

— Ой-ой-ой, в обиду он не даст!.. Саблями его кроши... Тебе то что, — ублажился, а теперь и трава не расти! Гляди-ка, расхорохорился, будто все в его власти!

— Неужели ты не хочешь моей быть навеки?

— Ну, хочу, скажем, а что с того?

— Тамро, признайся: немножечко, хоть самую малость любишь ты меня или нет?

— Если бы не любила, ноги бы моей здесь не было, глупыш! Одной мыслью жила — тебя увидеть! Женщин подбила за черникой пойти, ничего лучшего не удумала...

— А что, разве плохо?

— Черника-то и поблизости есть, а я их Бог знает куда завела, еле уговорила. Ох, только бы не дознались, какая ягода меня приманила! И то может быть: следом за мной пошли... сидят где-нибудь сейчас в

кустах... слушают, видят мой срам и смехом давятся! Пропади они пропадом... Перед свекром совестно, больше ни перед кем; он человек самолюбивый, невесткой гордится... в глаза мне заглядывает, словно прощения просит за то, что калеку своего навязал, — думал, я в него жизнь вдохну. Э, не получилось! Вот и мучается свекор; не знает, как угодить, чем порадовать... А я, потаскушка поганая, грех такой сотворила... Свекра в грязь втоптала, честную семью опозорила.

— Ни в чем ты не виновна, Тамро. Агнец ты безгрешный, и сверстницы напрасно на тебя косятся. На мне, только на мне вина лежит... это я свекра твоего за доброту так отблагодарил... это мне нужно каяться, но после твоих слов я ни о чем не жалею!

— Отпусти меня, Баадур. Потом я еще приду, вот увидишь: придумаю что-нибудь и приду. А сейчас, заклинаю, не губи, отпусти с миром, если не хочешь, чтобы счастье наше худом оборотилось, чтобы Арагви меня унесла!

— Тамро, скажи, а ты хочешь уйти?

— Нет, но что делать! Мне ни еды, ни питья, ни крыши над головой не надо — только бы с тобой быть! За что ни возьмусь — ты у меня в глазах стоишь. В постели волчком кручусь, все о тебе думаю! Мочи моей больше нет! Забывчивая стала, что вчера ела — не помню...

— Да, а дома и словом со мной не обмолвилась!..

— Не могла. Муж и свекор разом бы догадались.

— А я, я не догадался бы? — Баадур улыбнулся и снова привлек женщину к себе.

— Э-ге-гей!.. — откуда-то донесся подхваченный гулким эхом крик.

Тамро от неожиданности вздрогнула, одернула подол платья и, присев на землю, тревожно спросила:

— Кто это?

— Тедо, мой товарищ.

— А мне показалось, — голос свекра...

— Да ну, откуда ему здесь быть?!

— Может, он заподозрил что-то и решил меня выследить.

— Нет, не бойся, я же сказал: товарищ это мой, Тедо!

— Ой, вдруг он нас заметил?

— За холмом он, на вырубке овец пасет. Нас тут не то что он, псы и те не приметят!

— А второй парень?..

— Какой, Пето? Так он же с Бачаной уехал, к невесте поспешил, — у него свадьба осенью.

— Я пока сюда шла, извелась вся от страха: только бы не встретиться с кем-нибудь!..

— Не беспокойся, одни мы здесь — я да Тедо.

Крик повторился.

— Ответь, чего же ты молчишь?! — встрепенулась женщина.

Баадур ничего не оставалось делать, как откликнуться на зов напарника.

— Ну, наконец-то, — вновь где-то далеко вверху аукнулся Тедо. — Ты там не заснул? Поднимись, каурма стынет, не отдавать же собакам!..

— У него только еда на уме! — в сердцах буркнул Баадур.

— Думай обо мне, скоро я снова приду! — прошептала Тамро, вскочила на ноги, отряхнула платье, еще раз поцеловала Баадура в щеку и, ловко выскользнув из его рук, той же тропинкой, по которой она поднялась наверх, торопливо засемила под гору. Баадур, расстроенный возможным появлением нежелательного свидетеля, растерянно проводил женщину взглядом, не успев даже ни взять с нее слова, ни хотя бы договориться о месте нового свидания.

Сентябрь катился на убыль. Дни стали короче, но света было еще предостаточно, сумерки наступали довольно поздно. Приходилось только гадать, как скоро Тамро найдет повод, выкроит часок-другой и снова поднимется в горы. Долго ли понадобится ждать? Неделю? Две? А может быть больше? Сердце Баадура восставало против разума и никак не хотело подчиниться здравому смыслу. По три раза на день он приходил к заветному месту, где совсем недавно такой неправдоподобной милостью осчастливила его судьба. Все было по-прежнему, как в тот самый час — разрозненные купы зеленого багульника, плотный ковер вересковых листьев с тонкими, изогнутыми прожилками, взметнувшиеся к небу вековые буки. Не было только Тамро — живой, горячей, близкой. «А вдруг она вообще не придет? — тягостно думалось Баадуру. — И

обещание ее было лишь уловкой, предлогом избавиться от моих сумасшедших поцелуев... Нет, нет, нет! Она не могла солгать. Чтобы женщине отважиться на такой далекий, рискованный путь, нужно любить очень и очень сильно! Она меня любит, любит! Верно сказано: коль женщина загорелась — за семью замками не удержишь!» Успокоенный такими мыслями, Баадур запасался терпением и с потаенным трепетом ожидал той минуты, которая уже однажды вознесла их обоих на алтарь великого первородного чувства.

Хотя Тедо утверждал, что земля хранит августовское тепло до глубокой осени, и первый ранний снег, выпавши он случайно, непременно растает — на деле все вышло наоборот. Побелели верхи гор, затем припорошило склоны, где еще вчера паслись овцы. Непогода принуждала страгиваться с заснеженных мест и уходить на нижние пастбища.

Баадур не учел подобной смены обстоятельств и теперь тревожился, как, где, да и вообще найдет ли Тамро их новую стоянку?! Но даже если бы он все это предвидел, нетвердое знание окрестностей мешало ему строго определить, куда придется перегонять отару.

Тедо от слова не отступался, продолжал настаивать на своем: еще, дескать, немного — и распогодится! С убежденностью человека, добрых полжизни прокочевавшего по лугам, он неустанно твердил, что не помнит случая, когда бы зима столь рано, с первым сентябрьским снегом, заключала землю в свои тяжелые оковы.

«Твоими устами мед пить! Может, вправду, солнце еще присветит, продержимся до верных холодов!» — думал Баадур. Терпение постепенно покидало его, душу точило беспокойство и не давало подолгу сидеть на одном месте. Ночью он не раз вставал, выходил во двор, пристально вглядывался в туманный небесный простор, загадывая, какой будет завтрашняя погода.

— Эй, Баадур! — подавал из угла голос до подбородка завернутый в бурку Тедо. — Ну что там, вверху?

— Утренняя звезда взошла.

— Ого, значит, проясняется!..

— Край неба чуток высветлился. Дай-то Бог, авось на наше счастье и тучи разгонит!

— Чего нудишься, не спится, что ли?



— Не спится, дядя Тедо.

— Э, парень, а ты часом не влюбленный?

— В кого же здесь влюбиться?..

— Ты — здесь, она — там, и такое бывает. Смущаться не надо, в любви зазорного ничего нет! Я в твои годы...

Баадур уже почти назубок знал все эти разудалые любовные приключения далекой, холостяцкой молодости Тедо. В десятый раз, почитай, слушая очередную историю, он молча лежал с раскрытыми глазами в крошечной темноте и думал о Тамро.

С безостановочной поспешностью летели дни. Однажды утром Баадур пробудился несколько позднее обычного. Тедо уже встал, развел в очаге огонь, поставил на треножник закопченный чугунок с водой, приготовил крынки под молоко и вышел наружу. «Подремлю-ка еще десяток минут до прихода Тедо», — решил Баадур, которому страх как не хотелось вылезать из теплой постели. В это время собаки подняли неистовый лай и сломя голову понеслись куда-то за край кошары под гору. Бабахни сейчас где-нибудь поблизости пушка, вряд ли грохот выстрела был бы слышен в этом невообразимом псином гвалте.

Баадур насторожился. Кого это еще Бог принес? Ну не Тамро во всяком случае! Ее бы овчарки встретили радостным повизгиванием, а не бешеным лаем. И то верно: не могла она так, запросто явиться на глаза Тедо, годившегося ей в отцы, пренебречь своим женским стыдом. Уж дала бы знак, подстерегла где-нибудь у тропинки, крикнула: «Тамро я, Тамро, пришла вот, не могу без тебя!..»

«Зверя псы почуяли или, может, опять эти Какуцины сродственники за жратвой пожаловали?! — подумал Баадур, тут же мигом оделся, сунул ноги в башмаки, опоясался патронташем и сорвал со стены карабин. — Если волк забрел, — не уйдет, прихлопну, а если эти оборотни, — ох, поплачутся у меня, за все рассчитаюсь, уму-разуму научу, отобью у сволотников охоту честных людей дурачить!..»

Неумолчный собачий лай слышался откуда-то слева, со стороны тропинки, которая вела в долину. Тедо нигде не было видно. «За собаками, что ли, пошел?!» — подумал Баадур, перебрался за горбатый пригорок и

на ровчаке, близ камышового озерца, из которого рвался вниз, к дубняку, неширокий ручей, действительно заметил своего напарника. Рядом с ним стоял мужчина в сванской шапке, с перекинутой через плечо буркой. Свирепые псы, не обращая никакого внимания на окрики Тедо, со всех сторон яростно наседали на пришельца, и тот ловко отбивался от них длинной сучковатой палкой.

Благонамеренность путника не вызвала у Баадура ни тени сомнения. Он поднял карабин стволом кверху, дослал патрон в казенник и выстрелил в воздух. Громовой гул потряс тишину округи, отрывистым эхом прокатился по ближним распадкам и замер где-то в далеких горных теснинах.

Псы разом сникли, заскулили, завиляли хвостами, уселись неподалеку, преисполненные чувства свершенного долга и, вывалив языки, с интересом стали следить, как мужчины поприветствовали друг друга, завязали мирную беседу, а затем гуськом — впереди Тедо, посредине гость, последним Баадур — пошли по тропинке.

Рыжеватый пунцовощекий мужчина в сванской шапке, действительно, оказался сваном, в поисках поденной работы забредшим в Пшави. Судьбе было угодно свести его с Бачаной. Сердобольный старик внимательно выслушал свана, уговорился с ним насчет службы и послал в горы на смену Баадуру, которого вот уже третий день поджидал в Бачанином доме гонец от Какуцы.

Новость эта растревожила Баадура. Он вспомнил своего старика-отца и засыпал незнакомца вопросами. Кто тот человек? Как нашел его, Баадура, в такой глуши? Не стряслось ли лихой беды? «Если что не так, здесь же скажи, — не унимался взбудораженный известием парень. — Скажи, не тяни, легче мне станет!..»

Сван больше ничего не знал. Он, правда, уверял, что сердцем, дескать, дурного не чувствует, а в остальном призвал положиться на Бога и молиться за воцарение всеобщего благоденствия на земле.

Псы проводили Баадура до самой опушки леса. Они то забегали вперед, то легким наметом неслись рядом, то кружили где-то позади. За ручьем, у зеленого холма, там, где тропа, петляя, уходила в лесную

глубь, псы, как по команде, присели на задние лапы и долго, печально смотрели вслед трусившему вниз Баадуру до тех пор, пока он не скрылся в темной чащобе.

Баадур спустился к Арагви, когда солнце уже перевалило за полдень. Он решил отдохнуть и примостился на камне у самой воды, в тени деревьев. По его подсчетам, отсюда до дома старика оставалось меньше половины пути. День был знойный, солнце светило всю и Баадур даже здесь, в густой тени, ощущал его приятное, ласковое тепло. Засосало под ложечкой: голод настойчиво напоминал о себе. Не мешало бы заморить червячка, но без сотрапезника Баадуру было жаль времени развязывать хурджин, доставать припасенные Тедо харчи, есть в одиночку, а затем укладывать остатки обратно.

В голове Баадура теснились самые разные мысли, но все они, пусть малым образом, а были-таки связаны с Тамро. Знает ли она о его скором приходе? А вдруг именно сегодня ей захотелось навестить его, и они разминулись в пути?! Есть ли тут другая дорога? Коль Тамро отправилась в горы по ней, то, видно, не суждено на сей раз встретиться с любимой!.. И когда теперь он увидит свою ненаглядную, когда сможет вернуться сюда, да и сможет ли вообще?! Или, допустим, добрался он благополучно до места, а Тамро с женщинами за черникой, за травами целебными в лес пошла... Что тогда? Не скажешь ведь старику, что хоть три дня готов его невестку дожидаться...

На дороге, прямо перед носом Баадура упали два камешка. Сердце его мгновенно затрепетало в радостном предчувствии, он вскинул глаза и остолбенел. Там, на самом верху крутого подъема стояла Тамро— сияющая, в новом наряде, вся какая-то изменившаяся и немного чужая.

— Баадур, ты что, аршин проглотил или вновь я тебя напугала?

Баадур что было сил припустил в гору. Запыхавшись, он наконец-то взобрался наверх, прижал к груди всем телом дрожавшую от волнения женщину, тихой, безмолвной лаской усладил душу и вместе с Тамро опустился на землю.

— Чего это тебя в такую даль занесло? Да еще одну! Ты знала, что я прийти должен?

Тамро кивнула головой и прислонилась виском к щетинистой скуле Баадура.

— Кто же тебе сказал?

— Свекор. К нам бородач один заявился. Нескладный такой, худой, ростом с хорошую жердину. Чаргальский дьякон Миха Хелашвили. Они со свекром давние знакомые.

— Миха Хелашвили? — у Баадура радостно заискрились глаза. — Да он же из наших отрядников! В Магароскари пристал, когда мы в Хевсурети слезили. От Какуцы, верно, будет!

— Он и свекор долго шептались, прежде чем человека за тобой послать. Я за дверьми притаилась и все слышала.

— Что же именно?..

— Прознали мы, дескать, что Баадур где-то здесь за овцами ходит, в горах прячется... Какуца наказал ему назад в отряд возвращаться...

— Ух ты, все до мелочей им известно! Видно, разведка без сбоев работает. Что это за одежда на тебе, еле узнал?

— Нравится? — Тамро тонкими, длинными пальцами дотронулась до серьги и опустила руку в подол платья. — Для тебя нарядилась. Подумала, авось я такой Баадуру приглянусь еще больше! Напрасно, да?

— Ты мне и так, и этак нравишься — хоть в парче, хоть в рогожке!..

— Нет, нет, правду скажи! Если не по душе тебе, — скину и никогда не надену.

— Честно сказать, привык я к твоему ситцевому платью, да оно тебе, кстати, и идет-то больше. — Баадур снял с Тамро оборчатый парчовый полушалок, почти целиком скрывавший ее мягкие, крашенные хной волосы, вчетверо сложил и легонько отбросил в сторону. — От кого красоту свою прячешь? Не жалко? На кой черт сдалось тебе это тряпье? Пусть им гимназистки и купчихи прикрываются!

— Бог ты мой, что же это мы на виду расселись-то, а вдруг кто наткнется на нас!

Они отошли поодаль, опустились на траву в укромном месте, откуда хорошо была видна петлявшая среди самшитовых зарослей дорога и где уже никто не мог застать их врасплох.





— Я тебя там каждую минуту ожидал! По три  
раза на день к нашему старому месту ходила. А ты  
слова не сдержала, на бобах меня оставила.

— И я в мыслях с тобой все время была. За что  
ни возьмусь — стоишь ты у меня в глазах и все тут!  
А что до слова, то его я держать умею, но сейчас никак  
не могла вырваться, Баадур! Меня тоже нужно по-  
нять... Боялась, как бы свекор не заподозрил чего, не  
распознал моего бесстыдного вранья...

— Не говори так, Тамро, причем здесь бесстыдст-  
во!.. Бесстыжий негодник тот, кто долю твою чуть не  
загубил. Мы же любим друг друга... ведь так... мы же  
рождены друг для друга, и если в этом иные бесстыдст-  
во видят, — Бог им судья!

— Баду, если у меня сын родится, я его твоим  
именем назову!

— А что люди скажут, или как на это твой свекор  
посмотрит?!

— Пусть что хотят, то и думают, перетолков я не  
боюсь. Всю жизнь в треклятой темнице провести —  
разве мало мне такого наказания!

— Сбежим вместе отсюда, сбежим — и дело с  
концом!

— Эх, Баду, не трави мою душу... не тешь ее, бед-  
ную, обманом!.. Знаю, ты и впрямь этого хочешь, и я  
хочу, да вот только как это сделать — несвободные мы  
оба!.. На мне крест тяжкий, — Тамро грустно взгляну-  
ла на обручальное кольцо. — А ты клятвой связан и  
пока жив, должен до последней капли крови биться за  
нашу страну! Я простая, неученая девушка — да и не  
девушка уже, а женщина, — книгу с трудом, по слогам  
читаю, но во всем, что вокруг творится, разобратся  
как-нибудь могу. Ох, кабы я парнем родилась: плечом  
к плечу с тобой и с Какуцей Чолокашвили стояла бы,  
и смерти не в пояс бы поклонилась, а в глаза плюну-  
ла!..

— Вон ты какая, оказывается, Тамро! Не услышь  
всего этого сам, ни за что не поверил бы! — Баадур  
нежно привлек голову любимой к себе, обеими руками  
взялся за виски и, заглянув ей в глаза, как на прича-  
стии, благоговейно коснулся губами лба. — Признать-  
ся, я ожидал совсем другого.

— Думал, наверное, что я бабенка взбалмошная и, кроме как кобелиной лаской, ублажить меня нечем?!

— Ну, Тамро, зачем же так саму себя сечь?!

— Мы уже обо всем переговорили, тайны меж нами нет, и знай: я обыкновенная женщина, такая же, как другие, — не хуже, не лучше!

— Ладно. Скажи, что там в селе нового, партийцы и голяки комсомольские неладного не внюхали?

— Рыщут вокруг да около, подслеживают, но в толк, видно, ничего взять не могут, а то уже давно бы распотрошили нас, и к тебе кого-нибудь из своих подослали бы. Днем чужому в селе лучше не появляться — и стар и млад с расспросами пристают: кто, куда, зачем?.. Чаргальский дьяк у нас в амбаре хоронится, для вида замок снаружи повесили. Туда и еду по очереди со свекром носим... Доносчики уже среди селян объявились, люди друг друга бояться стали. Вчера еще последним ломтем хлеба делились, Богу вместе молились, а сегодня все по углам разбежались... сидят... переглядываются недоверчиво... Да наступит этому ужасу когда-нибудь конец или нет?!

— Наступит, наступит, дай только врага одолеть и самому себе хозяином стать!

— Когда же это будет?

— Много крови прольется, много голов слетит с плеч долой — и наших, и чужих, но своего мы все равно добьемся. Иначе быть не может. Европа и Америка на нашей стороне, обещают помочь людьми и оружием. Законное наше правительство за границей тоже не дремлет. Знака от него ждем, чтобы восстание поднять, да такое, — небу жарко станет!.. Вся Грузия за оружие возьмется! А до той поры мы, отрядники, врага лихими наскоками изводить будем, покою ему не дадим ни днем, ни ночью... Народ отчаиваться не должен, пусть все знают и видят: не покорилась Грузия черной судьбине, не иссякла ее сила, не притупились клинки!

— Где же это ты так складно говорить научился. Баадур? Неужто в отряде Какуцы и этому вас обучают?

— Было бы желание, а научиться всегда можно! Подумай-ка лучше, что дома скажешь, — куда такая разнаряженная ходила?!

— Бог меня без милости своей не оставит, что-ни-

будь придумаю. А ты, Баду, допоздна здесь будь, пока луна не взойдет. Если опасность какая, свекор тебе на встречу выйдет, — у нас так уговорено, а если все в порядке, сам подходи, собаку я на цепь посажу!

— А мы, мы когда встретимся?

— Никогда! Лучше бы ты мне вообще не повстречался, — не знала бы хоть, что по-другому жить можно!

— Тамро!..

— Ага, Тамро я, Тамро... — женщина кокетливо приподняла тонкую бровь и, слегка тряхнув золотыми сережками, грациозно изогнула шею. — Что такое?

— Люблю я тебя!..

— И я не сидела бы здесь, не гневилась Бога, коль не любила бы! Но, видно, не суждено нам быть вместе, разные у нас доли. Ехал бы ты в свою Кахети... в Цинандали... или как там еще!.. Господи, хоть бы и мне когда-нибудь краешком глаза взглянуть на ту землю!

Тамро мягким, аккуратным движением сбросила с плеча руку парня, собралась с силами, решительно встала и, не оглядываясь, пошла к тропинке по устилавшему землю сплошному рододендроновому ковру. В эту минуту она больше всего боялась смалодушничать, боялась поддаться нахлынувшему чувству и вернуться назад.

Остаток дня расстроенный Баадур провел в том же перелеске, в котором его встретила Тамро. Он расположился ближе к дороге, чтобы ненароком не проворонить вероятных путников, но за все это время, до самого вечера, на ней не появилось ни одной живой души. «Ну, кажется, в селе тишь да благодать,» — решил Баадур, вышел из своего укрытия и торопливо зашагал по проселку.

Уже надвигалась полночь, когда юноша увидел залитую лунным светом знакомую рощу и дом добросердечного Бачаны. Небольшое подслеповатое оконце желтовато поблескивало изнутри: в доме не спали. У ворот, в сумрачной тени огромного ореха Баадур замедлил шаг. Откуда-то издалека, словно бы из преисподней, донесся яростный собачий лай и в ту же минуту послышался приглушенный, хрипловатый голос старика:


— Это ты, Божий человек? Запозднился, сынок, мы тебя уже этой ночью и не ждали!

Чаргальский дьякон Миха Хелашвили, бывший друг и односельчанин великого Важи, как только над родной землей нависла беда, тотчас скинул рясу, отложил в сторону крест, взял в руки маузер и примкнул к отряду повстанцев. Сейчас, по приказу Какуцы он пришел на встречу с Баадуром, и в ожидании парня, с оружием на изготовку сидел напротив двери, опершись сухими локтями на широко раскоряченные колени. Хотя Миха не сомневался в надежности Бачаны, осторожность вовсе не была излишней: чекисты могли вести за домом слежку... Мерзких неожиданностей, однако, не случилось. В комнату вошел Баадур, и соратники по-братски обняли друг друга. Радостно улыбаясь, Баадур снял с плеча карабин, отстегнул патронташ, освободился от тяжелого хурджина, уместил всю свою кладь в углу и только после этого опустился на низкий, коротконогий табурет, который услужливо придвинул к нему хозяин.

Мужчины сидели в маленькой комнате с тремя дощатыми стенами. Четвертая, неровно выбеленная, с застарелыми подтеками стена, примыкала к той комнате, в которой не так давно старик и его невестка выхаживали прихворнувшего парня. Баадур напряг память и вспомнил, что именно из этой комнаты, где они сейчас втроем размещались, в тот, первый день его прихода, доносился шепот, наверняка, таких же, как он, поздних гостей. Из разумной предосторожности Бачана не свел их тогда всех вместе.

Миха Хелашвили рассказал все как есть об отряде, ничего не утаивая и не смущаясь присутствием глядевшего ему прямо в рот старика. Видно, они взаправду были если не закадычными друзьями, то уж точно, старыми знакомыми, и без опаски доверяли друг другу.

По словам бывшего дьякона, вернувшийся из Хевсурети отряд стал лагерем в матанском лесу близ Телави и со дня на день собирался переметнуться в Кисисхеви, поскольку телавская милиция, не раз посрамленная Какуцей, уже не надеясь на свои силы, решила подключить к поимке повстанцев расквартированный в Тукурмиши карательный красноармейский батальон. В отряде уже справили по Баадуру тризну. Все были



уверены, что по дороге из Хахмати он попал в лапы большевикам-кровопийцам, и те, конечно же, предали его мученической смерти. Какуца не находил себе места. «Вот горе-то стряслось, — сокрушался командир. — Что мне теперь несчастному отцу сказать? Он сына мне под призор отдал, а я его убересть не смог!» Как ни странно, но огонек надежды в потускневших, печальных глазах Какуцы разжег именно Шакро, отец Баадура, когда ему, доставившему в лагерь нехитрый харч, сообщили тревожную весть. Кряжистый кахетинец молча выдержал на себе сочувственные взгляды, глухо кашлянул в большой, задубелый кулак и сказал, как отрезал: «Жив Баадур, чует мое сердце!» Обошел потом отец своих друзей-знакомых, снарядил верных людей на поиски сына и к радостному изумлению отрядников в самом деле отыскал его след на отгонных пастбищах Пшави.

Короткий и вместе с тем обстоятельный рассказ дьякона Баадур выслушал без особого внимания, хотя и не упустил ни одного слова. Поминутно сердце его проваливалось куда-то вниз, он ждал, что вот сейчас отворится дверь и с подносом в руках в комнату войдет Тамро — пополнить яствами стол, за которым сидели мужчины. Но никто не входил... Баадур снова стал теряться в догадках. Где же Тамро? Может быть, еще не вернулась? Или наоборот: притаилась беззвучно за дверью, слушает, томится, но войти, взглянуть на него не решается?!

Ни Бачана, ни Миха не заметили лихорадочного беспокойства Баадура. Они продолжили прерванную беседу и не умолкали до той поры, покамест первые петухи не возвестили о приближении рассвета. Только тогда дьякон торопливо поднялся, нахлобучил на голову мохнатую чабанскую папаху (точно такую же носил в свое время великий Важа) и дал Баадуру знак собираться в дорогу.

«Господи праведный, да почему она хоть на минуту не появится? — думал Баадур, медленно опоясываясь патронташем и не сводя глаз с двери. — Неужели не хочет напоследок свидеться?»

Мужчины осторожно вышли во двор, добрую половину которого затенял могучий, раскидистый орех. В прохладном наплыве утренней свежести Баадур вновь

исполнился тайной надежды хотя бы мельком увидеть Тамро. Всем существом он чувствовал ее близость. Она кружила рядом, совсем рядом, но лица ее не было видно, а губы сковывала печать молчания. Почему? Доворот оставалась самая малость. Вот сейчас он сделает эти два-три шага и... она явится, подкрадется сзади, положит руку на плечо, обвеет жарким хлебным духом, чуть слышно шепнет: «Единственный мой!..»

«Тамро! Тамро! Тамро!» — звало, кричало, металось сердце Баадур, но никто не откликался на этот зов.

Даже в самом страшном сне Баадур не мог себе представить, что всего лишь через несколько минут после их ухода гостеприимный дом Бачаны, которому с лихвой хватало прежних злосчастий, плотным кольцом окружают прибывшие из Душети чекисты и потребуют у хозяина выдачи пособников махрового разбойника Какуцы Чолокашвили.

И уж совсем непредсказуемым был последующий жест старика: вместо того, чтобы успокоить красноколышников, предложить им обыскать дом на предмет полного отсутствия искомых личностей, Бачана просунул в окно старую винтовку, выменянную за пол-литра у русского солдата, и открыл отчаянную пальбу по наглым пришельцам. Те ответили штурмовым накатом, подожгли дом, испепелили в огне отца вместе с недужным сыном, выволокли из хлева прятавшуюся там заплаканную Тамро, связали ей руки, и, согнав на берег Арагви, прежде чем разлучить с жизнью, в редком ольховнике всем взводом гнусно надругались над ней.

Землю еще не прогрели бледноватые, полуденные лучи осеннего солнца, когда стражи нового порядка, довольные тем, как они расправились с кулацкой, а стало быть, классовой нечистью, победным шагом возвратились в Душети.

Перевод Вадима КОЛЕНЧЕНКО



## ЖИЗНЬ

Сколько я должен звать и кричать,  
чтоб отворили мне двери;  
сколько я должен слез проливать,  
чтоб, наконец, мне поверили;

сколько мне бегать, чтоб хоть одну  
дали секунду покоя;  
чтобы воды мне хоть кто-то черпнул, —  
должен я литься рекою;

сколько мне раз надо песнь запевать,  
чтоб и других к ней настроить;  
сколько я должен себя волновать,  
чтобы других успокоить;

чтобы всей правдой последнего дня  
сказать ей с веселою болью:  
«Жизнь, ты красивой была у меня.  
Прощай, я доволен тобою!»

\* \* \*

Бумагу чистую обожествляю я,  
пустынно чистую  
и безупречно белую  
пречистую бумагу,  
к которой не притронулось перо.

Еще — снежинку,  
легкую, порхающую,  
бесконечно нежную,  
которую — так кажется всегда —  
несут по воздуху невидимые крылья.

Еще — травинку, малую травинку,  
пусть даже и на лестнице,  
между истоптанных камней  
проросшую травинку,  
которую ногой еще не придавили.

И — свет,  
о, свет от звезд уже угасших —  
угасших наших звезд  
лучистые посланья...  
Бумагу чистую обожествляю я.



Перевод Генриха ВАРДЕНГИ

## „Собачья жизнь“

Когда в объятиях зимы  
Внимаем ветра  
                    завыванью,  
Увы — собаки, но не мы,  
                    растрачивают  
                    состраданье.

Когда беспамятства сорняк  
Скрывает вещи  
                    тропинки,  
Не мы — собаки просто так  
                                    друг дружку помнят  
                                    по старинке.

Когда судьбы обманут знаки  
И дни, как лезвия, остры,  
Опять не мы — они, собаки,  
                    по-человечески  
                    добры!

## Вместе с ворами

Верно ли кончились муки  
                                    несчастий?  
Кровью своею мы правду оплачивали!  
Но отчего же так ноют запястья,  
В которые гвозди смачно  
                                    вколачивали?!

Ведает Бог, что свершается с нами?  
Перед молвою я  
                                    не расскаюсь,—





Неблагодарности людской  
вовек я  
не смогу простить!

В тебе души и сердца нет,  
могу простить,  
ты добротой не согрет,  
могу простить;  
несправедливость вьется вслед,  
могу простить,  
и неприличен твой ответ,  
могу простить...  
Но если ты плохой сосед,  
вовек я  
не смогу простить!

Ты скуп и жаден — все равно,  
могу простить,  
ты глуп с рожденья, как бревно,  
могу простить;  
воришкой ты слывешь давно,  
могу простить,  
тебе развратничать дано,  
могу простить...  
Но если портишь ты вино,  
вовек я  
не смогу простить!

Меня с ума ты свел на миг,  
могу простить,  
а твой обман завел в тупик,  
могу простить;  
мутишь ты часто слов родник,  
могу простить,  
мысль искажаешь, я привык,  
могу простить...  
Ты свой коверкаешь язык —  
вовек я  
не смогу простить!

В стихах несешь галиматью,  
могу простить,

ТЫ льешь в огонь воды струю,  
могу простить;  
из-за тебя я глух, сдаю,  
могу простить,  
и нем, и больше не в строю,  
могу простить...

Отчизну предал ты свою —  
вовек я  
не смогу простить!

Перевод Натана БААЗОВА



Давид МЧЕДЛУРИ

## Когда-нибудь

М. Квливидзе

Когда-нибудь рухнут и эти устои,  
Которые слово живое загрызли,  
Которые все мы приветствуем стоя,  
Скрывая свои настоящие мысли.

В иных, кто не шествует в ногу со всеми,  
Стреляют, чтоб всех отучить волноваться.  
Иные от страха ослепли на время.  
Иные оглохли навек от оваций.

Когда-нибудь рухнут и эти устои.  
Вчитаются люди в стихи виновато,  
И вдруг обнаружится лживо-пустое  
В строке, что достойной считалась когда-то.

Когда -нибудь рабство закончится это.  
И время наступит свободное, наше,

И скажут нам: «Вольно! Дерзайте, поэты!  
Довольно шагать под парадные марши».

И небо опять будет небом, не крышей,  
И Бог станет Богом, и спустит заветы,  
И мы вдруг услышим не сверху, а свыше;  
Как скажут нам: «Вольно! Дерзайте, поэты!»

\* \* \*

Я видел, как солнце всходило  
Одновременно  
Со всех четырех сторон света.  
Кто оценит  
Безграничную эту наивность?  
Каждый невежда может одернуть меня  
И указать на восток.

## СОН

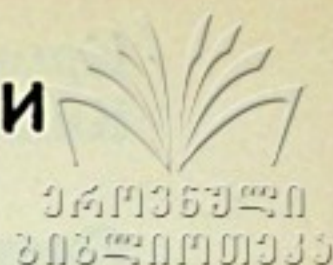
Я задремал  
На каменной скамье  
И вижу сон,  
Как в лунном свете беглом  
Вдруг мама входит в дом,  
Идет ко мне,  
Измучена землею, ветром, снегом.

Мне чудится, что ты — вблизи меня...  
Там ураган бушует оголтело.  
Здесь в очаге взметнулся диск огня,  
Напомнив мне твое тугое тело.

Краснеют угли, рассыпаясь в гарь.  
Во сне мне снится сон: великолепье  
Осенних красок, терпких, как янтарь.  
И оба сна уносит ветер в степи.

Я задремал  
На каменной скамье...  
В глазах мелькают сновидений клочья.  
Но сплю ли я, или не спится мне,  
Заложнику тоскливой смутной ночи?

# Воспоминание о жизни



Я рисую все ту же картинку:  
Вот вороны в воронке небес.  
Вот Хевсурский хребет по старинке  
Осыпает снегами свой лес.

Я один. Всем пришлось удалиться,  
Так бывало вчера и давно.  
Как и прежде, вертлявая птица  
Острым клювом стучит мне в окно.

Даже солнце, зачем неизвестно,  
Лишь на миг возникает из тьмы.  
В этом узком ущелье так тесно,  
Точно в яме подземной тюрьмы.

Это небо, ущербно, убого,  
Многим смерть принесло на земле:  
Кто-то призван досрочно был к Богу.  
Кто-то сам удавился в петле.

Все привычно, старо, неизменно.  
Время — словно в тисках западни.  
Конь Георгия связан, как пленный.  
Дни грядущие прошлым сродни.

Я рисую картинку и где-то  
Изменяю мазки и цвета.  
Но, добавив движенья и света,  
Замечаю: картина не та.

Все изношено,  
тускло,  
избито —  
Этот ритм повторяет мне хор  
Воронья, что, как черная свита,  
Растянулось в пространстве меж гор.

## Калина

Смолкает шумной осени мотив.  
Осталось до зимы совсем немного.

Кровь ягод на твое окно пролив,  
Калина скажет: «Как я одинока!»



Снег разноцветный по земле метет,  
Идет зима, по-новому волнуя.  
Гору Архота держит небосвод,  
Точно Афон, воздушно-неземную.

Куда идти? — ты спросишь у мечты,  
Измученной бессонницей ночьюю.  
Куда идти?! — уже воскликнешь ты.  
Тебе ответят горы тишиною.

Кружит лишь снег в надменной тишине.  
Мир выглядит застывшим и забытым,  
И ты мечтаешь о счастливом дне,  
Когда в полях Марабды пал убитым.

Помимо слез, ты кровь пролил в тот день,  
Сверкая саблей не окончил боя.  
Но от врага осталась только тень —  
Тебе уже не стать самим собою.

Ты исчезаешь в серой жиже дней —  
Так первый снег мешается с землею.  
Но снег тебя моложе и нежней —  
Ему не вспоминается бывшее.

Стихает буйной осени разбег.  
Осталось до зимы совсем немного.  
Твою калину подморозит снег.  
Калина скажет: «Как я одинока!»

## О людях и травах

Все вдруг задвигалось как будто.  
Снег первым сделал резкий шаг.  
От суеты апрельской смуты  
Его не удержать никак.

Еще деревья не успели  
Стряхнуть остатки зимних дум,

Но слышен всюду по ущелью  
Уже грядущих листьев шум.



Уходит снег, его побега  
Жду, затаившись, как трава,  
И в мыслях изменяю снегу,  
И предаю его права.

Прощай, мой снег! Тебя предали.  
В моей неверности тебе  
Есть вызов ханжеской морали  
И нашей изменной судьбе.

Я не гнушался рабской ноши.  
Согнувшись, нес, как все, свой груз.  
Пою, чтоб скрыть как можно дольше,  
Что я, увы, такой же трус.

Пою, как травы зеленея,  
И к солнцу рвусь сквозь мрак и грязь.  
Прощай, мой снег! Я стал сильнее.  
Я предаю тебя, смеясь.

Перевод Ларисы ФОМЕНКО



# Безголосый колокол

ПОВЕСТЬ

— **В**севидящий Боже, Повелитель, Творец, Всевышний, кто бы ты ни был, если ты есть, умоляю, помоги, наконец, разобраться, грешен я или не грешен? Если тебя и в самом деле лишь выдумали люди, подобные мне, сам-то человек ведь воистину ходит по земле? Пусть хотя бы человек ответит мне и толком объяснит, грешен я или нет. О, Всевидящий!..

— Ты мне что-то говоришь? — хлопотавшая у очага старуха с изборожденным морщинами лицом повернулась к старику, который лежал в постели, сложив руки поверх одеяла. Выждав немного и не получив ответа, старуха упрекнула с улыбкой: — Совсем одурел ты, отец, совсем. Опять сам с собой шепчешься? Ответь же, не молчи!

Старик и сейчас не издал ни звука, даже не взглянул на старуху. Махнув рукой, она заковыляла наружу.

\* \* \*

Старинная деревянная тахта старика стоит у окна. В оконном кресте виднеется каменистый голый склон по ту сторону реки и приютившаяся, словно одинокий инок, на его гребне церковь без креста. За крутой хребет устало опускается багровое солнце. Оно похоже на то гумно, на котором молотил раньше человек, что беспомощно лежит сегодня у окна.

Старика страшит отвесный выжженный склон, сиротливая церковь без креста, и он закрывает глаза. Это еще хуже. Ему кажется, что на вершине голого склона остались два засохших дуба, среди которых застрял позеленевший медный колокол. Невидимая рука дер-



гает за длинную веревку большого колокола. А может быть ветер? Неважно. Вережка раскачивается, а колокол молчит. Деревья, как подкошенные, падают в разные стороны и колокол с головокружительной скоростью, но беззвучно, мчится по крутому склону, мчится, целясь в грудь старика. Пронзенный ужасом старик раскрывает глаза и... видит: потолок дома странно раскачивается, будто вот-вот упадет, рухнет вниз и вместе с тахтой втопчет его в землю. Это тоже страшит старика, он снова закрывает глаза. По пустынному голому склону опять несется огромный колокол, вырвавшийся из клешней двух засохших вековых дубов, мчится беззвучно, и стоит зазеваться, как он рухнет на грудь.

Что сделало этот колокол безголосым? Ведь язык у него сохранился, и если веревка бессильна, то почему, когда он катится, не звонит? Что сделало его глухим и немым? Кто отнял у него голос? Кто заставил онеметь? Кто убил колокол? Раньше было достаточно раз ударить и его раскаты гремели над горами и долинами, промчавшись над ухабистым хребтом, неслись в поднебесье. Колокол звал народ на молитву, а порой... В селе хватает и горя, и радости. Кое-кого этот колокол приводил в ужас. А теперь он будто ватный, лишился голоса, умолк, оглох, онемел. Язык есть, а все же как безъязыкий. Может, упав на грудь этому старику, зазвонит и загудит, как прежде? Но колокол не успевает выполнить задуманное, старик опережает его, внезапно открывает глаза. Затем беспомощно мечется по старинной тахте, страшась падающего потолка. Каждое мгновение все вокруг меняется. То он нежится в райском Эдеме, то жарится в аду, порой одновременно испытывает блаженство и боль; кажется, распят на кресте — в одно запястье вцепился райский апостол, в другое — служитель ада, они тянут человека в разные стороны, словно хотят разорвать надвое.

— О Всевидящий, Бог ты, Повелитель, Всевышний, кто бы ты ни был, где бы ты ни был, умоляю, помоги разобраться: грешен я или не грешен?..

И старик плывет в черно-белых облаках воспоминаний, какое-то время держится на поверхности, затем все тело наливается тяжестью, и он, как брошенный в воду топор, погружается в облака.

Село Хомлети окружено извилистым Гормагальским хребтом. В одном месте хребет опускается, превращаясь в небольшую равнину. В долине стоит сизая хомлетская церковь, там же — старейшее сельское кладбище. Церковь, ее двор и кладбище обнесены низкой каменной оградой. У Гормагальского хребта крутые склоны, покрытые лесом. Это лес Богородицы — вековой дубняк. У подножья леса Богородицы склон вырублен и разровнен. Здесь стоит каменный особняк, украшенный широким балконом с перилами, хлев, деревянный марани с большой дверью и сплетенный из ореховых прутьев амбар на дубовых столбах. Рядом — маленькое круглое гумно, а ниже — двухэтажный мякинник, нижний этаж его из камня, задней стеной врублен в склон, второй — деревянный, смотрит дверью на гумно. Неподалеку от гумна поле и любовно ухоженный, довольно большой виноградник. С другой стороны вдоль дома и двора тянется так же заботливо ухоженный фруктовый сад: яблони, груши, гранат, черешня, слива, инжир и тута. Тянется в небо орех. Чуть поодаль по большому вязу пущена лоза. Она поднялась до самой верхушки, обвила почти каждую ветвь. Даже если собрать весь виноград, все равно сельским мальчишкам останется, чем полакомиться.

Все это — старинный дом, амбар, поле, виноградник, сад принадлежат Бердиа. Трудолюбивый крестьянин любит свои владения больше жизни, всякое дело делает с песней. Вот и сейчас, напевая, хлопочет на гумне. Впряженные в молотильную доску волы медленно, безостановочно кружат по гумну. И кажется, так будет продолжаться до бесконечности — волов не выпрягут, пока полностью не смолотят рассыпанные по гумну янтарные снопы.

Босоногий, смуглотелый, голый по пояс Бердиа третий раз перевернул гумно деревянной лопатой. Наконец, еще через несколько кругов он остановил молотилку и удовлетворенно крикнул детям: «Слезайте, хватит!».

Пока все смолоченное не сгребут в одну кучу, гумно напоминает Бердиа солнце. В такую пору ему светят два солнца — одно на небе, второе — на земле. Только солнце-гумно в это время больше солнца, незаметно

движущегося по небу. Бердиа выпустил быков из упряжки и погнал поить на реку Гижура.

Спокойный Никора и шалун Цкипура так жадно набросились на впадающий в реку ручеек, словно собирались осушить его.

Стремительная Гижура с силой швыряла ревущие волны на скалистый берег.

Только Бердиа замахнулся на быков прутом: хватит, мол, ненасытные, лопните, как услышал отчаянный ребячий крик: «Помогите, тонет!».

Посмотрев на реку и заметив в бешеных волнах голову человека, Бердиа, не раздумывая, как был, в штанах, бросился в воду и поплыл за волнами, уносящими сына клдисубанского Залико — Иродиона. Хороший пловец, Бердиа вскоре догнал мальчика и, ухватив его левой рукой за вихор, попробовал плыть правой. Бледный как полотно, Иродион обеими руками обхватил шею Бердиа и попытался вскарабкаться на него.

— Отпусти руки, руки отпусти, а то оба утонем!

Иродион не послушался, и оба погрузились в воду. Не растерявшись, Бердиа оттолкнулся ногами ото дна и вынырнул один. Потом опять нашел мальчика, схватил его за вихор и поплыл к берегу. Почувствовав под ногами опору, прокричал мальчику: «Сейчас хоть за шею хватайся, хоть на спину лезь!». Но у Иродиона на это уже не было сил, и Бердиа сам обвил его руками свою шею.

Трое ожидавших на берегу мальчишек набросились на Иродиона с криками:

— Плавать не умеешь, чего полез, не знал, что затянет?

— Сейчас не время для упреков, ребята, ну-ка быстро ставьте его вверх ногами! — обессиленный Бердиа передал Иродиона мальчишкам.

Схватив за ноги бездыханного, посиневшего, как спелая слива, мальчика, ровесники подняли его. На сухой песок хлынула вода, которой он наглотался в избытке. Затем Иродиона положили на берег и до тех пор делали искусственное дыхание, пока у мальчика не появился нормальный цвет лица и осмысленный взгляд.

Клдисубанец Залико привел спасителю сына белоногого скакуна.

— Что это ты надумал? Когда у нас за такое дело

брали награду?! — возмутился Бердиа. — Разгневаешься на нас Всевышний, разгневаешься! Ты, может, забыл, Залико, что меня зовут стражем леса Богородицы? Служение Богу в нашей семье идет от предков, и я не оскверню душу, не изменю завещанию предков, вере нашей, не запятнаю имя.

— Ты подарил моему сыну жизнь!

— И этого коня я дарю ему!

— Что ж... Избавь тебя Господь от всяких невзгод... Я твой вечный должник, Бердиа. Ну, а если Бог забрет меня, мой сын никогда не оставит твою семью без внимания! Счастливый я, конечно, счастливый! Если бы ты к этому времени не смолотил хлеб и не пригнал быков на Гижуру, кто знает, каким несчастным был бы я сегодня! Отныне я на тебя буду молиться, ты мой бог, мой повелитель! — говорил Залико спасителю сына.

— Молись истинному Богу, Залико, истинному Богу на небесах. Все на земле творится по его велению!

— И небесному Богу буду молиться, и тебе, моему земному богу. Небесный Бог далеко, человек человеку скорей поможет. И это так...

— Да, конечно, человек человеку должен помогать. Если люди не протянут друг другу руку помощи, что толку тогда от них. Пусть же земля и небо не лишат тебя ни помощи человека, ни помощи Бога! — Бердиа ободряюще похлопал по плечу Залико широкой, как лопата, ладонью.

Залико повел белоногого жеребца обратно в Клдисубани.

\* \* \*

Из молочного тумана вновь выплыл берег Гижуры. Мальчишки привели в чувство Иродиона, растянувшегося голышом на сером песке. Иродиона или... Старик не может разобраться, кто стоит перед ним — спасенный Иродион либо он сам, тогдашний Бердиа? Босоногий, со смуглой голой грудью, в мокрых брюках. Стоит, изумленный, на берегу и тяжело дышит, обессиленный в борьбе с рекой. Только сейчас он осознал, какое несчастье могло произойти, не спустись он на Гижуру.

— Раскаиваешься, что спас меня? — словно пыта-

ет Иродион старика, только у Иродиона почему-то голос Бердиа.

— И не раскаиваюсь, и не радуюсь. Кажется мне, что стою на весах греха и праведности и раскачиваюсь... Но я не один: вместе со мной раскачивается потолок моего дома, а вместе с домом — небо и земля.

— А в тот день ты выжал брюки прямо на себе и, счастливый, напевая, пошел на гумно.

— Да, я шел туда, напевая. Думал: спасая сына человеческого, я вдруг увидел все по-иному, и сам как-то изменился, словно кто-то невидимый новую душу в меня вложил, потом он же подхватил меня и вознес на небо, выше облаков. Тогда я подумал про себя: наверное, праведное дело очищает души обоим и — тому, кто спас, и тому, кого спасли, оба проникнутся невидимой благодатью, которая на всю жизнь станет их спутником. Но недаром говорят: человек предполагает, а Бог располагает. Не благодатью, а злым роком стал для меня тот случай.

— Значит, все же раскаиваешься, что спас меня? — напомнил Иродион.

— Если раскаиваюсь, то не только из-за этого...

— Тот, второй случай, тревожит больше?

И опять Бердиа не понял, кто спрашивает: Иродион или двойник самого Бердиа.

— Оставь меня в покое наконец, чего пристал? Словно рок, преследуешь! Горе мне! — обреченно вздохнул Бердиа.

— Что у тебя болит, отец, скажешь наконец? — спросила жена.

— Да ничего не болит... Это так...

— С кем же ты борешься день и ночь?

— Ни с кем не борюсь! — упрямо отрезал муж и спрятал руки под одеяло.

— Откройся, откройся, несчастный, не то убьет тебя печаль. Ну, хоть мне скажи, что грызет тебя?

Молчание, долгое молчание. Не получив ответа, старуха хлопчет у очага.

— Я не убивал, нет! — вырвался у старика затаенный шепот.

Старуха, хотя давно туга на ухо, все же услышала мужа.

— Кого не убивал?

— Его, — кому-то другому, не жене, ответил старик.

— Кого — его?! — с удивлением обернулась старуха.

— Эх! Что было—было! — старик опять вглядывается в оконный крест, за которым виднеется голый склон и на вершине — сиротливая церковь без креста на куполе. По каменному склону беззвучно катится вырвавшийся из клешней двух засохших вековых дубов колокол, катится, чтобы рухнуть на грудь лежащему старику. Может, хоть тогда издаст звук. — Ээх, ээх!

— Скажи же, старик, что тебя волнует?

— Отстань!.. Все отстаньте! И на земле, и на небе!..

— Раз так, вздыхай, сколько угодно!

— Не хочу туда смотреть, переставь тахту к другому окну!

— Если только это тебя тревожит, нашел из-за чего горевать! Можно вообще во двор перенести, коли там тебе лучше станет, будешь по сторонам смотреть! Думала ли я, что окажусь сильнее тебя, мужика из кремня? Ну, отдыхай уж, отдыхай!..

\* \* \*

Люди издревле называли дубняк, покрывающий склон, лесом Богородицы. У подножья этого леса стояли каменный дом и амбар предков Бердиа. Может, потому и следил за лесом Богородицы дед Бердиа, тоже Бердиа, староста хомлетской церкви. Когда староста Бердиа отошел в мир иной, за лесом Богородицы стал присматривать Эквтимэ, отец Бердиа.

В детстве Бердиа ходил в церковь и в лес Богородицы сначала с дедом, потом с отцом.

Никто в селе не помнил, когда была построена здесь церковь, и Бердиа тоже никогда не задумывался об этом. От деда же знал, что когда-то на месте этой церкви с крестом была другая молельня, которую люди называли Саэлио. Тут поклонялись не Богу, а могучему старому дубу с раскидистой кроной, что стоял на поляне рядом с молельней. В селе никто не помнил, то ли упал тот дуб-вековун, то ли срубили его. Во дворе церкви лежало только множество кладбищенских валунов, похожих на гробы, обросших по бокам зелено-

вато-желтым мхом. На большинстве валунов были разные рисунки: плуг, топор, посох, всадник в бурке, быки в упряжке, кувшин для вина — кевври, винодавиля, лоза. С одного небольшого камня ангел с распахнутыми крылышками, кажется, вот-вот взлетит, только помани. Бердиа чаще всего останавливался перед этим камнем. Позже он узнал, что здесь был похоронен семилетний брат деда. По этим кладбищенским могильным камням дед научил Бердиа читать. Прочитанное здесь заставило мальчика задуматься о таинственном мире. Впоследствии лес Богородицы тоже превратился для него в тайну. В дремучий дубняк, казалось, и солнце не решалось заглядывать, лучи разбивались о листу и лишь сверкающая пыль солнечных осколков достигала земли.

Неподалеку от церковной ограды стояли два самых могучих дуба и так близко друг к другу, что даже в детстве Бердиа не удавалось пролезть между ними. Ветви и корни их столь тесно переплелись, что, только пристально вглядевшись, можно было разобрать, которому из дубов они принадлежат. Застрявший меж дубами большой колокол когда-то, видимо, висел на ветви одного из них, постепенно она перекинулась на ветвь другого дуба и срослась с нею. Со временем налившись силой деревья вознамерились раздавить оказавшийся меж ними колокол, но ничего не вышло — олокол сам примял дубам бока, проникнув в кожуру и стволы, угнездился в середине, можно сказать, и сам сросся с этими дубами, и их соединил. На языке застрявшего между деревьями колокола, как прежде, висела веревка, и когда били в колокол, казалось, вместе с ним начинали звонить и дубы. Было время, звон колокола и вместе с ним тех дубов летел над селом таинственной песней небес, сладостным пением Бога и ангелов. Колокол и дубы люди почитали больше, нежели церковные иконы, смиренно молились и благоговели перед ними. Сюда приходили бездетные женщины, что-то развешивали на дубах и заклинали тот колокол либо сросшиеся с колоколом дубы подарить им ребенка. Беременные просили счастливого разрешения от бремени. О чем только ни молили люди. «В этих дубах первородный дух и сила нашего Господа, поэтому поклоняются им», — говорил отец Бердиа. Может, потому и в

детстве и позже эти два сросшиеся с колоколом дуба в лесу Богородицы представлялись Бердиа земными лицами Всевышнего. Проходя мимо, он всегда преклонял колена и крестился.

Глядя с гумна на лес Богородицы, маленький Бердиа не мог видеть сизой церкви на вершине, за дремучим дубняком виднелся лишь устремленный в голубизну поднебесья черный крест, — будто не в церковный купол он вбит, а держит его в руках лес Богородицы.

Все село считало лес Богородицы священным местом. Здесь никто не осмеливался срубить дерево, сломать ветку, некоторые даже боялись прикоснуться к нему.

— Все деревья здесь посажены Богом, сколько дубов, столько святых храмов, у каждого дерева душа божества, грешная рука человека не смеет касаться их, этот лес полностью принадлежит Богородице, кроме Бога, никому нельзя до него дотрагиваться, у того, кто срубит хотя бы один дуб, вымрет семья, — проповедовал старший Бердиа, а ему это завещал его дед. Главным покровителем леса был сам Бог, но... На всякий случай требовался и глаз человека — как бы кто невольно не согрешил. Это дело когда-то поручили предкам Бердиа, и семья свято выполняла завещание, ничего не требуя в награду за труды ни от Бога, ни от людей.

Никто не решался заехать сюда на арбе или лошади. Подъехав к лесу, всадник обязательно оставлял лошадь и по тенистой тропинке поднимался пешком. Опасаясь, что Бог обидится или разгневается, из этого святого леса не решались брать на дрова даже сломанный ветром старый дуб. В лесу витал божественный дух, он прощал грешников, исполнял сокровенные желания, изгонял недуг из тела больного, дарил детей бездетным, шелестел, внушая всем успокоение и надежду, в то же время лес, как человек, грустил и радовался, смеялся и рыдал.

Одно название уже придавало таинственность лесу Богородицы. Людям он казался необыкновенным, будто у растущих здесь деревьев были иные корни и ветви, иной дух царил здесь и листва шелестела иначе. Люди благоговели перед этим лесом, как перед божеством, и любили, и трепетали перед ним.



Умирая, Эквтимэ завещал дубняк сыну: «Заботиться о нем повелел нам Всевышний, не лишай семью милости служения Господу».

Бердиа с детских лет проникся любовью, почтением и страхом к лесу Богородицы, и он выполнял завещание даже с чрезмерным усердием. Чтобы скотина не обдирала деревья, он обнес живой изгородью все ведущие к лесу Богородицы тропы. Когда в дубняке опадали желуди, свиньи, учуяв запах, неслись с хрюканьем к лесу, но Бердиа был начеку. Семьям, живущим поблизости, он говорил: «Сами собирайте желуди и кормите свиней дома», частенько и сам помогал им в сборе желудей.

Спокойный по натуре, Бердиа впадал в буйство, заведя в окрестностях леса Богородицы путника, курившего трубку, буквально с волчьей злобой набрасывался на него:

— Куда ты с этим проклятым огнем, в лесу полно сухих листьев и хвороста, бросишь окурок, загорится листва, займется в лесу пожар. Всю деревню погубить хочешь? Сейчас же потуши!

За упрямым, который не слушался его, Бердиа шел следом до тех пор, пока тот не покидал окрестности леса.

Собирать грибы в лесу Богородицы и брать воду из лесного родника — только это и позволял Бердиа. Грибы и вода из леса Богородицы имели совсем иной вкус. Так казалось людям, и как мог Бердиа запретить селу пользоваться этим даром природы, когда сам больше других верил всем сердцем, что здешние грибы и вода осенены Божьей благодатью. В лесу Богородицы вольготно жилось различным птицам. Деревья были усеяны гнездами. Орлы тоже прилетали сюда, и их появление никого не пугало. Когда птицы по утрам начинали щебетать и чирикать, казалось, что собрались ангелы небесные и прославляют Бога своими молитвами.

Однажды большой Бердиа забрал маленького Бердиа на мельницу, там они задержались и домой возвращались ночью. Ночь была полнолунная, светлая, теплая. Когда приблизились к лесу Богородицы, мальчик услышал странную переключку и замер от удивления.

— Не нашел? — спрашивал один.

— Нет, нет, нет! — отвечал другой.

— Ты чего остановился? — спросил дед <sup>изумлен-</sup>ного Бердиа.

— Дедушка, по лесу Богородицы кто-то <sup>ходит,</sup> что-то ищут! Может, это злые духи?

— Злые духи в лесу Богородицы?! — дед поправил мешок с мукой на плечах и взглянул на лес. — Нет, это филины кричат, внучек.

— Какие филины? — не понял мальчик.

— Филины — это птицы, внучек.

— Какие птицы? На воробья похожи или на орла?

— Они на сов похожи. Некоторые и сову называют филином, у них одинаковые глаза — круглые, выпученные.

— И что, филины ночью летают?

— Да, только ночью, этим они тоже похожи на сов.

— И вот так, как люди, зовут друг друга?

— Да, голоса их похожи на человеческие.

— А что они ищут?

— Что ищут... Это, внучек, длинная история. Ладно, расскажу тебе коротко. Когда-то филины были людьми. Однажды, что-то потеряв, отправились на поиски в лес, задержались там до ночи, и от страха ли, от чего другого, — превратились они в ночных птиц-филинов. С того дня каждую ночь ищут то, что потеряли, ищут и до сих пор не могут найти. Понял?

«Что же потеряли несчастные люди, превратившиеся в филинов, что ищут и до сих пор не могут найти? Может, счастье? Или... Может, ищут своего потерянного Бога, раз летают в лесу Богородицы? Да, и такое возможно, и такое...» — раздумывал Бердиа уже юношей, услышав голоса филинов, и сразу же вспоминал ту лунную ночь.

И ему до глубины души было жалко превратившихся в птиц людей, которые когда-то потеряли своего Бога и с той поры никак не могут найти.

После той светлой ночи Бердиа относился с жалостью не только к филинам, но и ко всем птицам. В детстве он ни разу не выстрелил в птиц из рогатки, а в лесу Богородицы опасался даже испугнуть их. И другим запрещал убивать. Дедушка с детских лет внушил ему, что это непростительный грех и для маленьких, и для



взрослых.. Стрелять в птиц из ружья или рогатки та- кой же грех, считал страж леса Богородицы, как убить человека.

— Убить человека, убить человека... Я... Я... Я не убивал человека, — шепчет Бердиа. Его когда-то широкие, как лопата, а сейчас сморщенные, высохшие, с набухшими жилами, натруженные руки беспомощно лежат поверх одеяла. — Эх, как повернулось тогда колесо судьбы! Мир словно перевернулся, многое изменилось.

Чтя Бога, Бердиа, однако, никогда не уповал только на его милость. Трудолюбивый, работающий, он и землю любил, как Бога, денно и нощно хлопотал в поле и на винограднике, ухаживал за домом, чтоб не погас очаг семьи. Жена тоже ему досталась чудесная — работающая, скромная, послушная. Преданная подруга и в горе, и в радости, надежная помощница в поле, на винограднике, она растила ему четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. Так что Бердиа никогда не пришлось ее ни в чем упрекнуть. Новые времена она встретила спокойно: «Где все, там и я», — убежденная, что выжить можно всегда, коль есть силы и желание работать.

Но стали раздаваться громогласные, бесстыдные проповеди о том, что Бог — это обман, моления и службы надо запретить, а церкви разрушить. И словно ударили ей в сердце ядовитым копьём. Она зажгла свечи на пяти пальцах и так приблизилась к иконам в хомлетской церкви: «Отец небесный, помилуй святотатцев и отступников, ибо не ведают они, что творят». Пока не растаяли свечи на пальцах, молила она Всевышнего вернуть на праведный путь заблудших. Ей казалось, что нагар со свечей, капая, проникал прямо в душу, но не обжигал, а приятно согревал.

Как грибы после дождя, вырастали в деревнях по обе стороны Гижуры богоотступники. За ними потянулись и такие, которые раньше не пропускали ни одной службы. Они неприкрыто и нагло требовали: «Обрить всех попов, стащить с них рясы и в церкви же сжечь, разрушить все храмы, а вместо них построить избы-читальни и клубы». Для устрашения людей они размахивали длинноствольными маузерами, порой затевали пальбу прямо в церкви — стреляли по иконам, целясь в глаза святых.



ния над Гормагальским хребтом, грозно смотрит на землю длиннобородый Бог.

Прошло девять дней. Хомлетская паства, как обычно, собралась в церкви, и отец Филипп, как обычно, певуче начал молебен.

— Наша плоть земная, дух небесный, но оба они — от Бога, дети мои...

Только священник нараспев проговорил это, раздался голос Иродиона:

— Смотрите-ка на этого бородатого кривляку! Слышите, люди, что он бубнит! Тоже мне, папаша нашелся!

Никто не засмеялся, никто не откликнулся на глупую шутку Иродиона.

— Опасайтесь лжепророка, что придет к вам в обличи агнца, но с душой волка коварного!..

После этих слов отца Филиппа в басовитом голосе Иродиона уже зазвучала угроза:

— Что выдумывает эта бородатая коза! Видно, захотел, чтоб его удавили на кресте.

Отец Филипп замер, пожав плечами, удивленно посмотрел на паству: может, слышались ему эти нелепые слова.

— Такой верзила вымахал, вот-вот до церковного креста дотянешься, а ума ни на грош. Что ты себе здесь позволяешь, что? — выкрикнул белобородый старик Пармен.

— А мне не нравится, что бормочет поп, — спокойно ответил одетый в брюки и рубашку хаки Иродион.

— Оскорбить священника, сынок, значит оскорбить Бога, — смягчился Пармен. — Священник беседует с Богом, он посредник между небом и землей. Ему, сынок, поручены ключи не только от церкви, но и от тайн небесных, он — почетный посланник Всевышнего, а ты богохульствуешь, называешь его святую проповедь бормотанием.

— Все вы — слепцы. Поп — это черт в черной рясе, прикрывающийся именем Бога, больше ничего! — резко отрезал Иродион.

— Образумься, парень! Знай, Господь не простит тебе святотатства! Перед Богом ответишь, перед Богом! Поверь мне, сынок!

— Ваш Бог, дед, придуман для обмана людей! — К Иродиону опять вернулось спокойствие. — Если и

есть Бог, то помогает только попам, а нищий <sup>люди</sup> обдирает как липку, не поняли до сих пор? В соседней деревне нашли труп боженьки, свалился с <sup>неба</sup> мертвый.

— Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! — дрожащим голосом затянул отец Филипп и так взмахнул кадилом, что чуть не выронил из рук.

Церковное эхо повторило:

— Господи, помилуй!

— Эге-гей! Где ты, боженька, где? Ответь этим оглохшим! — прохрюкал Иродион.

Служба прекратилась.

Когда паства высыпала во двор, отец Филипп встал во воротах церкви и, скрестив на груди руки, воззвал к небу:

— О, Повелитель всего сущего, обрати свой взор на идущего по гибельному пути! Миром начал править сатана! Наползает страшная ночь безверия, и ночь эта — тень дьявола, весь белый свет обращается в тень дьявола. Нечистый смотрит на землю, как палач на жертву. Образумь, Всевышний, заблудшего, вставшего на грешный путь! Спаси, спаси мир и человека! — священник так широко распростер рукава рясы, что напомнил Иродиону черного ворона.

Прихожане разделились. Одни слушали Филиппа, другие Иродиона, стоявшего на старом, обросшем мхом, безымянном могильном камне:

— Люди, пора прозреть! Вы боитесь попасть в котел с кипящей смолой в аду и что только ни жертвуете церкви из-за этого страха, несете попу всякие подношения и подарки. Поверьте мне, ни того света, ни ада не существует. Напрасно страшитесь наказания на том свете, напрасно бегаете к попам с пожертвованиями, они сами съедают подношения, предназначенные Богу. Бог ничего не ест и ничего не пьет, все это выдуманно лживыми попами. Поп, которого вы называете пастырем, сам доит Всевышнего, хоть и нет его, а все равно доит...

Залико, заметив разгневанное лицо Бердиа, отвел глаза, потом растерянно встал между разделившимися надвое прихожанами, видимо, не мог решить, примкнуть к сыну или священнику.

— Не смей идти против Создателя, противоборст-

воватъ Всевышнему! Господь всемогущ, все равно одо-  
леет тебя! — крикнул Пармен и разгладил белую бо-  
роду. — Убивая у людей веру в рай, вы, молокососы,  
оставляете им только земной ад! Что даете вы верую-  
щим взамен, отнимая Бога, что, нечестивцы? Знайте,  
лучше ослепнуть, чем потерять веру в Господа. Пере-  
бьете иконы в каменном храме, потом сорвете божест-  
венные образы в церкви, и ваша жизнь пойдет прахом,  
исчезнете. Не убивайте Отца небесного, без Господа че-  
ловек осиротеет и сам умрет.

— Мы убиваем лжебога, чтобы обожествить че-  
ловека! — решительно и убежденно отрезал Иродион.

— Не гневайте Господа! — поддержал Пармена  
Иона с костылем. — Отец небесный не простит зам это-  
го святотатства! Гнев падет на ваши головы! Себя не  
жалее, хоть деревню пожалейте, семьи свои пожалей-  
те! Небеса покарают вас за богоотступничество. Не-  
христь опаснее коварного зверя! Что ты зубоскалишь,  
наглец? Отлупить бы тебя розгами, чтоб поумнел, да  
только некому. Некому учить тебя уму-разуму! — Иона  
потряс костылем.

— Так разве я виноват, что безбожник? Видно, ко-  
гда я родился, ваш Бог сладко спал с каким-нибудь  
ангелочком и не узнал о моем появлении. Вот и живу  
без Бога, без божественных законов. Где, интересно, этот  
ваш боженька? С гормагальской скалы не смогу я ух-  
ватить его за бороду?

— В ад тебя сатана затащит, в ад!

Иродион только хохотнул, а потом сделал вид, что  
трепещет от страха:

— Ой, горе мне, горе! Второй раз не смогу уже  
родиться! Ох, горе мне! Как до сих пор я не знал, что  
такой ужас меня ожидает! Как неожиданно настиг ме-  
ня страх перед Богом! Спасите, спасите! — В черных  
глазах Иродиона проскользнула насмешка.

— Покарает тебя Богородица, не паясничай, него-  
дьяй! Увидишь, что с тобой будет на том свете! Себя не  
жалко, хоть жену с детьми, родителей пожалей, бого-  
отступник! Никто из вас рая не удостоится!

— Уступаю вам и рай на том свете, и второе при-  
шествие на этом! — Иродион уже явно издевался.

Хохот человека в рубашке хаки показался побелев-

шесу, то и дело пощипывавшему усы Бердиа эхом от грома, прокатившегося над скалами.

Долго спорили, шумели люди во дворе церкви, перебивая друг друга, упрямо доказывали свою правоту, и каждому казалось, что прав только он. А к полудню церковный двор враз опустел. Несколько человек пошли домой по тропинке леса Богородицы, большинство же отправилось по аробной дороге к Гормагали. Группа молодежи, окрестившая себя «союзом безбожников», шла отдельно, оттуда доносилось пение:

Любит попадья каду,  
Поп же — поминки.  
Кувыркнулся с неба бог,  
Сломал себе ногу.

Бердиа почему-то пошел по аробной дороге. Онемевший, безмолвный, как колокол без языка, ловил каждое слово. Спор, начатый за церковной оградой, продолжался.

— Нет, человеку не одолеть церкви, — рассуждал Пармен. — Церковь — Божий дом. Село без Божьего дома — не село. В некоторых деревнях у Повелителя по два-три дома, будь они благословенны! На земле воистину существует только Бог, все остальное выдуманно им. Как можно забыть истинное и почитать выдуманное!

— Ложь это! — заспорил учительствующий в Хомлети сакиварец Элизбар, приходившийся Иродиону родственником по материнской линии. — Первобытный человек не мог объяснить многие тайны природы и мира, поэтому все приписывал сверхъестественной силе, выдумал Бога. Да, Бог выдуман, его выдумали такие же, как мы, люди. Не Бог создал человека, а человек создал чем-то похожее на себя Бога. Не знать этого в наше время стыдно.

— Что ты говоришь? Единственным своим покровителем считал я Бога на небесах, а если его нет, значит, остался я без заступника, — печально покачал головой клдисубанец Тадеоз. — Лучше не дожидь бы я до этого — узнать, что Бога и царства небесного нет. Тогда, выходит, жизнь человека кончается на этом свете и... Нет, дорогой, человек должен и уповать на Бога, и





бояться, без этого не проживешь. Господь и надежда, и цель...

— Ох, горе нам! Если Бога нет, для чего нужен нам этот поп, вправду, как козел, бородатый, разве что поминки справлять. Эх, эх, эх! — скорбно завздыхал идущий рядом с Тадеозом большелобый, одноглазый Лука.

— Я любое дело начинаю с молитвы. Плуг вынесу в поле пахать, молюсь, ниву жну, молюсь, лозу обвязываю, молюсь, виноград собираю, молюсь... Дома молюсь, на улице молюсь, в дорогу отправляюсь, молюсь. А в церкви сколько молюсь. Слышит меня Бог или нет, не знаю, я в своих молитвах душу отвожу. Для всех прошу милости у Бога и думаю, молитва эта дойдет до него, обернется благом и для меня, и для тех, о ком молюсь. Это ли не утешение? Как же мне отказаться от Бога? Пусть у каждого в душе будет своя вера, — попытался по-своему примирить Бога и людей горбоносый тщедушный Доментий.

Бердиа был в таком смятении, что не хотел никого видеть. Придя домой, он лег на покрытую пестрым покрывалом тахту, стоящую на открытом балконе, подложил под голову мозолистые, лопатистые руки и закрыл глаза.

Всегда внимательная жена тотчас заметила дурное настроение мужа:

— Очень ты кислый вернулся, уж не заболел ли? Бердиа не ответил.

— Не слышишь? Не заболел ты случаем?

— Да нет, — выдавил Бердиа, с трудом раскрыв глаза.

— Ты никогда не приходил из церкви в плохом настроении. Что случилось? Обидел кто-то?

Бердиа молча покачал головой.

— Узнал что плохое?

— Хуже быть не может — Бога собираются убить.

— Не чуди, кто одолеет Господа? Бога никто, кроме самого Бога, не убьет. И из-за этого ты так расстроился? Как ребенок прямо! Ну, подумай, если, скажем, сам Отец небесный не сможет себя защитить, ты один что можешь поделать? Если убьют его, не из-за тебя же? Вставай, вставай, милый! С утра голодный, поешь что-нибудь. Господи, страх смотреть, как лежишь брев-

ном на тахте. Я зеленое лобно потушила со свиной, как ты любишь. Я тоже не ела, вставай, вставай, а то умру с голода!

Даже ласковые слова жены не вывели Бердиа из смятения, не улучшили настроение. Без аппетита проглотив вкусный обед, он снова прилег и задумался. Сейчас Бердиа был похож на скорбящего человека, узнавшего о кончине близкого, в смерть которого он не хочет поверить.

Когда стемнело, Ариадна приготовила мужу в доме пышную постель: «Иди поспи на мягком, до каких пор на жесткой тахте будешь мучаться!» Бердиа отказался. Жена покорилась воле мужа, отошла без уговоров и упреков, нарочно еще долго хлопотала, сновала взад-вперед, надеясь, что у него улучшится настроение и он пойдет спать в дом. Ждала бессловесно до глубокой ночи. Когда, наконец, ее начало клонить ко сну, Ариадна, взяв совок, засыпала золой большую голловню — чтобы сохранить к утру огонь, еще раз взглянула на детей, спавших в другой комнате, потушила свет и в одиночестве легла на супружескую кровать. Это была первая ночь, когда супруги, находясь дома, спали порознь. Холодной в ту теплую ночь показалась Ариадне постель, что-то оборвалось в душе. Долго ворочалась она без сна, словно лежала на жестком матрасе.

Бердиа безотрывно смотрел на мерцающие звезды и плывущую в облаках луну. И его думы, казалось, тоже метались, как те облака, что то по-волчьи проглатывали луну, то отрыгивали ее.

«Гибнем, кажется, гибнем. Если все село пойдет за потерявшими страх безбожниками, в Хомлети произойдет страшное несчастье. Хотя, почему только в Хомлети? Если б эта беда коснулась лишь Хомлети, еще можно было бы что-то предпринять, но когда кругом... Неужели начинается потоп — предтеча второго пришествия и мир должен погибнуть от безумия?.. Неужели, неужели? Заблудшие безжалостно грозятся убить Бога... А вдруг Отец небесный разгневается на всех и... Бросит в один котел грешников и святых? Не дай Бог прогневать Господа, не дай Бог прогневать Господа!... Почему безгрешный должен погибнуть, как грешник? Если Повелитель справедлив, пусть погибнет только тот,



кого бес попутал! Да, сейчас смерть каждого вероотступника спасет мир от несчастья».

Бердиа снова стал глядеть на небо.

«Говорят, на небосклоне столько звезд, сколько людей на земле. Интересно, какая из них моя? Может, вот эта, самая яркая? Эх, кто отдаст мне такую звезду? Все, наверное, хотят самую яркую, особенную, непохожую на других... А вот еще вопрос — кто распределяет людям их звезды-судьбы? Может, каждый каким-то образом с начала же выбирает звезду своей судьбы? Может, и я должен был раньше выбрать, когда впервые увидел звезды?»

В думах о звездах пытался Бердиа забыть тот зловещный день. Напрасно. То и дело виделось ему глумливое лицо Иродиона, слышался его раскатистый хохот, похожий на раскаты грома.

— Ку-ка-ре-ку!

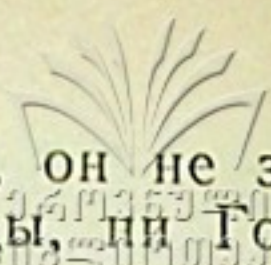
Бердиа узнал голос петуха-перестарка. Несчастный кукарекал уже с трудом. Усталый крик старика подхватили молодые петухи, и его хриплый голос затерялся в бодрой перекличке. И Бердиа, словно только и дожидался этого задорного, гоглосистого кукареканья, заснул.

\* \* \*

В конце лета, на Мариамоба — День Богородицы, когда во дворе хомлетской церкви собираются жители из дальних деревень, а многие там же и ночуют, Иродион решил снять с колокольни колокола и сбросить крест с купола. Намерения своего не скрывал: «Докажу и небу, и земле, что у вашего Бога нет никакой волшебной силы, иконы и крест не могут творить чудеса, а лес Богородицы — обыкновенные дрова, и больше ничего».

Весть об этом быстроногим скакуном облетела всю округу.

В ночь перед Мариамоба у Бердиа пропал сон. Тихо поднявшись с постели, чтобы не разбудить жену, он надел брюки, миткалевую рубашку в синий горошек, просунул ноги в чуваки и вышел во двор. Оглядевшись по сторонам, начал ходить взад-вперед, то и дело поглядывая в сторону церкви, но видел там только застывший в немой мольбе крест, устремленный в усы-



панное звездами небо. Кроме этого креста, он не замечал ничего вокруг — ни леса Богородицы, ни Гормагальского хребта; не слышал и журчания Гижуры. Казалось, спят и лес Богородицы, и река. В какое-то мгновение Бердиа показалось, будто на крест опустились ангелы, но вскоре он разглядел, что это плывущие по небу облака. Вот одно белое облако приблизилось к кресту, затем за облаком скрылась луна, и облако, освещенное серебристым лунным светом, стало похожим на нимб, увенчивающий крест.

«Господи, помилуй! Спаси, Боже!».

Сначала сорвут крест и колокол, потом доберутся и до самой церкви, безжалостно разрушат. Разрушат церковь, многие начнут сомневаться в существовании Бога, перестанут молиться, а разуверившийся, разочаровавшийся человек потеряет всякое уважение к иконам и храмам. Почтение, благоговение, страх, что испытывали ранее люди к местам, окружающим церковь и молельни, бесследно растают, как дым в небе. И разве кто-нибудь пожалеет, пощадит тогда лес Богородицы? Кто оставит нетронутым дубняк? Если хоть раз кто-то осмелится войти с топором в лес, не знавший топора, и срубит хотя бы одно дерево, тогда за ним последуют все, развратится и стар, и млад! Весь лес вырубят, превратят в пни, со временем пни тоже выкорчуют, земля на крутом склоне без леса постепенно окаменеет, во многих местах склон превратится в голые, скользкие скалы, а на них лес заново не вырастишь, хоть поливай каждый день с рассвета до темноты. Потoki избородят склон, начнутся обвалы, и прежде всего это грозит гибелью семье, проживающей у подножья склона. Лес Богородицы оберегает и склон, и дом, и виноградник, и фруктовый сад. Если вырубить дубняк в лесу Богородицы, либо оползни сметут дом, подворье, ниву, виноградник, на которые положено столько трудов, либо семья непременно должна перебраться отсюда со всеми пожитками в другое место, чтобы не погибнуть. А разве легко бросать дом предков, обзаводиться новым очагом?

Построй тут предки Бердиа деревянный дом, деревянную житницу, можно было бы их разобрать, перебраться на равнину и поселиться там, но как быть с каменным домом, марани, хлевом? Все придется бросить.

Трудно, ох, трудно заново начинать жизнь. Ведь она так коротка!..

А чтобы этого не произошло, и колокол, и крест должны быть спасены! Спасены, спасены!.. Но кто должен спасти их? Как спасти?.. О, как трудно! Невыносимо трудно!.. Сначала, наверное, человек должен спасти Бога, а потом Бог спасет и человека, и все остальное... Человек должен спасти Бога хотя бы ради себя... Воистину, воистину, воистину!..

«Эх, Бердиа, Бердиа, вот до чего ты додумался! Что это значит? Ты оберегаешь церковный крест и лес Богородицы ради Бога, или... Потому за все цепляешься, чтобы не пришлось уходить отсюда, менять привычный уклад жизни? — спросил невидимый судья.

— «Лес Богородицы — мой духовный дом», — отвечал Бердиа судье.

Не дом веры, а именно духовный дом, так и сказал.

«Лес Богородицы — мой духовный дом, духовный дом, — повторил он. — Я защищаю не только лес, но и свой духовный дом, понял?.. И так же служу Богу. Ведь я не прошу за эту службу никакого вознаграждения ни от Бога, ни от человека. О, Боже великий, всемогущий и всевидящий, не позволь заблудшим разорить твою святыню! Спаси, Всевышний, не губи! Спаси от гибели тобой же созданного человека, освети путь в царство небесное! Научи, как спасти образ твой!»

Тут уже мысли Бердиа опустились с лунного неба на землю:

«Если ночью будет дождь, может, этот нехристь завтра не решится карабкаться на мокрую крышу, отступится от гнусного замысла. Один раз не решится, может, вообще передумает. Так или иначе, колокол и крест надо спасти, тогда и церковь будет спасена от разрушения, и лес Богородицы от вырубки!».

— Господи, помоги! Помилуй, Всевышний! — простирает руки Бердиа в мольбе к небу, где видит задумчивый крест, три белых, прекрасных, как ангелы, облачка и круглую луну.

Страж леса Богородицы пока не теряет надежды на Бога. С этой надеждой вошел он в дом и сразу же заснул.

...Потом какой-то великан, совершенно голый, с огромным топором или тесаком ворвался в лес Бого-

родицы. Все дубы были будто и деревьями, и людьми. Пришелец начал ожесточенно размахивать топором. Деревья-люди падали наземь с одного удара. В мгновение на склоне остались торчать только пни. Великан начал и пни выбивать ногами. Босой Бердиа то карабкался в ужасе по склону, то орлом взмывал в небо и кричал пришельцу: «Не истребляй лес Богородицы, склон оголится, земля окаменеет, мы все погибнем без земли и Бога». Великан назло стал еще ожесточенней размахивать топором... И Бердиа кричал все отчаянней...

Он проснулся от собственного крика и посмотрел на жену — не потревожил ли. Ариадна лежала так тихо, что Бердиа даже испугался — не умерла ли она во сне, потом, услышав мерное дыхание, успокоился.

В окно заглядывала заря.

Бердиа попытался снова заснуть, но, напрасно промучавшись, вскочил и пошел ухаживать за скотаной.

\* \* \*

Двор хомлетской церкви с утра гудел. Кто только ни собрался здесь. Страж леса Богородицы с первого же взгляда догадался, кто пришел сюда развлечься, а кто верил, что Всемогущий и справедливый Господь не простит наглости богохульнику, жестоко покарает осквернителя, сбросит его с крыши церкви, не дав добраться до купола, и будет прав.

Вскоре солнце начало припекать, и люди разбрелись — прятались от солнца в тени церкви или под тремя вековыми дубами во дворе.

Затем на небе появились серые облака, на Гормагальский хребет набежала тень. Эта тень дотягивалась до церковного двора, принося с собой прохладный ветерок.

Иродион перебросил через плечо сложенную веревку, приставил к церковной стене плетеную лестницу и смело полез наверх. На середине лестницы остановился, горделиво оглядел заполненный людьми двор и со злорадством прокричал:

— Вот вы — на земле, а в небе ваш всемогущий Бог, посмотрим, что он со мной сделает!

— Бес, бес тебя попутал, парень! — обратился к гордецу на лестнице старейший житель Хомлети, пере-

валивший за сотню, седовласый Павлиа. — Вернись, не гневи Господа! Прошу тебя, спустись, не то придется отвечать тебе перед праведным судом на том свете!

— Отвечу, отвечу, дед Павлиа! Я и ваш папаша-боженька разберемся сами и на этом и на том свете! — спокойно ответил Иродион.

— Послушай нас, парень! Гореть тебе в аду!

— Ладно, прежде Бога с вами договорюсь, рай на том свете — вам, ад — мне. Я ни попа не боюсь, ни ада.

— Да этот изверг ставит себя выше Господа! Ох, плохо ему придется, плохо! — Павлиа с сожалением покачал головой. — Слушай, ты, видно, не знаешь, что в Салиэти один такой же, как ты, безумец, вынул камень из церковной стены, и на следующий день у него рука онемела. Вернись, прошу тебя, заклинаю!..

Иродион даже не оглянулся, еще раз проверил прочность лестницы — выдержит ли, и быстро полез наверх.

Однажды испугавшись воды, плавать он так и не научился, зато набрался храбрости, лазая по деревьям и скалам. Как циркач прыгал с ветки на ветку, ящерицей скользил по скалам. Это мастерство пригодилось ему и сейчас. Крепко вцепившись в жезл, он подтянулся и в мгновение ока оказался наверху. Смело ступил по наклонной крыше и снова хвастливо прокричал стоящим во дворе:

— Э-ге-гей! Слушай меня, паства! Ваш Бог уже шепчется со мной. Оказывается, батюшка небесный часто ночует на кресте этой церкви, а когда захочет помочиться, прогуливается в лес Богородицы. Ха, ха, ха! — сам же захохотал он над своей шуткой.

— Что ты себе позволяешь перед Господом, что ты позволяешь, нехристь, сатана, дьявольское отродье! Ослепнуть тебе середь бела дня! — воскликнул белобородый Пармен и повернулся к людям: — Если этому безумцу не помешать, он и кости Христа повышвыривает из могилы. Дьявольское отродье, продал черту душу. Нет, это не Божий сын, а сатанинский отпрыск, сатанинское семя.

Залико прекрасно слышал это, и что-то тяжело обрвалось в его сердце, но он не издал ни звука.

— И чего ты злишься, Пармен? Этот большой крест с купола я лично тебе подарю... Его тебе в изголовье

поставят — и преисподнюю тебе осветит, и путь к боженьке покажет.

— Собаке — собачья смерть! — по-женски проклял Иродиона разъяренный Пармен. — Чтоб ты провалился, раз никого не слушаешь!

Группа стариков перекрестилась и произнесла с мольбой:

— Господи, помилуй богохульника, ибо не ведает он, что творит!

Подыскав удобное место и укрепившись на предкупольной площадке, Иродион набросил на крест веревочную петлю, обмотал несколько раз и начал дергать за веревку, но крест даже не дрогнул. Увидев, что с крестом не так просто сладить, Иродион, быстро перебирая руками, пополз по веревке на купол.

Теперь, казалось, что в облаках плывут оба — и человек, и крест.

Ступить на крышу купола оказалось нелегко — держась за веревку обеими руками, Иродион то одной, то другой ногой нащупывал надежное место.

Кто-то из толпы стращал Иродиона судом Божьим, а стоявший рядом смеялся: «Кто не верит в Бога, того судом Божьим не испугаешь».

— Люди, спасите Бога, спасите! — закричал старик Иорданэ из Салиэти.

— Эх, как перевернулся мир, Богу понадобилась защита человека,—вздыхнул его сосед Алфеза. — До сих пор все думали, Бог поможет... Горе нам, до чего дожили!..

— Правда, правда. Раньше мы заклинали: Господи, помилуй, Господи, помилуй, а сейчас вон как повернулось! Бог сам молча умоляет нас: помогите, люди. Если Бог не в силах помочь людям, мы-то, скажи на милость, как его спасем?!

Иорданэ продолжал кричать:

— Люди, спасите Бога! Умрет Бог, умрет и человек!

— Покайся перед Господом в грехе и оставь крест в покое! — крикнул Иона. — У того, кто осквернит святой крест, рука отсохнет, как срубленная ветка.

— Дед Иона, ты за меня не переживай, это не крест, а рука боженьки, протянутая в небо за подаяни-



ем, и пора сломать эту руку! — спокойно проговорил Иродион.

«Да прогневаются на тебя все святые, если прикоснешься к кресту. Да прогневаются все святые!» — проклинал в душе Бердиа человека, раскачивающегося между крестом и облаками.

И тут, найдя наконец место опоры, Иродион вцепился в крест и сильно дернул его.

— Эге-гей, дед Иона, как там дела, на земле? Это ты меня предупреждал, что у того, кто прикоснется к кресту, рука отсохнет? — Иродион тряс крест, словно дразня и небо и землю. — А у меня вот руки еще крепче стали!

У Бердиа вдруг промелькнуло желание:

«Хоть бы он сейчас свалился, хотя бы сейчас свалился! А крест пусть останется. Тогда никто не будет искать здесь развлечения, будут приходить только молиться и... Лес Богородицы тоже спасется. Хотя бы он сейчас свалился! Господи!..»

Человек не свалился, зато крест зашатался еще сильнее. А вместе с крестом сейчас сильно колебалась и вера людей в Бога. Бердиа почувствовал это и продолжал мольбу:

«Хоть бы он сейчас свалился, пусть вместе с крестом. Ничего, потом люди опять поднимут его на купол и еще крепче станут верить. Господи, Господи, чего ты ждешь? Пусть он свалится, пусть, пусть! Если он сейчас поскользнется даже с крестом, Бог будет спасен!.. Тогда все село испугается, никто не осмелится сбросить колокол или крест с купола... И церковь не разрушат, и к лесу Богородицы не решатся подступиться с топором. Свалится сегодня этот безумец и будут спасены и Бог, и лес Богородицы, и многое другое. Пусть он упадет, пусть, пусть, пусть! Нет, это не преднамеренное желание, не злой умысел. Скверный, злобный человек хочет сорвать святой крест, а желать смерти злему человеку — это не зло, наоборот, благо, благо для всех. Я мечтаю только об этом благе. Мои мысли чисты, как эта церковь на земле и облака на небе. Богоотступник должен упасть на землю, чтобы были спасены души прихожан, чтобы у людей не умерла вера и чтобы вернулась к тем, кто уже потерял ее. Пусть он упадет, пусть, пусть!»



Бердиа видит только небо, крест и человека, который с первой же попытки набросил петлю на крест, дернул несколько раз и, увидев, что этого недостаточно, как акробат взобрался по веревке на купол и сейчас расшатывает сам крест, пытаюсь выдернуть. В эту минуту кажется, что слившийся с крестом человек тоже повис в небе. Из поля зрения Бердиа исчезла церковь, исчезла земля. Гормагальский хребет тоже исчез, пропали вдруг люди — и истинно верующие, и те, что столпились здесь ради зрелища. Куда или как исчезли, Бердиа не понял — он никого не видел. Только крест в небе и человека, прижимающего этот крест к груди, но не с мольбой, а для того, чтобы выдернуть его из купола и швырнуть на землю для поругания. Он хочет напугать собравшихся здесь людей. Если этот крест обрушится кому-то на голову, он, наверное, еще больше обрадуется, расхохочется, довольный, что так жестоко удалось посмеяться над людьми. Срывая крест, этот неверный желает убить Бога в сердцах людей, да-да, в сердцах людей... Порой одному безумцу удается взбаламутить целое мирное село. Один человек может и создать, и разрушить мир, если ухитрится повести за собой народ... Сегодня Иродион пытается убить Бога в сердцах людей, и лучше пусть умрет один утративший веру человек, чем Господь в сердцах людей. «Покарай, Господи, этого человека, возжелавшего твоей смерти! Господи, покарай! Сбрось его, хотя бы вместе с крестом!..»

С купола церкви упал только крест. Не упал, а слетел птицей, странно раскрывшей крылья. Трава поглотила его, словно к здешним могилам добавилась могила церковного креста.

Потрясенные, изумленные люди в страхе разошлись. Какое-то время царила мертвая тишина.

Потом Иродион сорвал с колокольни главный колокол — тот с грохотом прокатился по церковному двору, Иродион с довольным смехом спрыгнул на землю, повел плечами и, бахвалясь, изрек:

— Скоро прикончим и вашу церковь!

— Ты лгун, лгун! — только и смог выдавить Бердиа.

— Кто зовет меня лгуном? Прислужник леса Богородицы?.. — Иродион, видимо, хотел непристойно вы-

ругаться, но не осмелился и только выкрикнул: — По-годи немного, скоро до твоего леса доберемся! Выдумали какой-то лес Богородицы! Или ты на что годишься? Какого черта лесу Богородицы нужен сторож, если его Бог охраняет?.. Что, дубы там святы? Не знаю, святы они или нет, но хорошая древесина даром не должна пропадать.

— Боже мой, до чего я дожил! Что лишило тебя человеческого облика?! Дьявол сидит в тебе, дьявол, он не дает тебе покоя, несчастный!

— Во мне дьявол сидит, а в тебе ангел? Посмотрим, посмотрим!

— Вы, неверные, можете разрушить на земле церкви и храмы, и леса Богородицы можете уничтожить, но с небом ничего не поделаете! Плохо придется всем грешникам, всем! Всемогущего Господа вам не осилить, нет, сколько бы крестов и колоколов ни сорвали! В людских сердцах Бога не убьете!.. Неблагодарный безбожник, неблагодарный безбожник! Разве ты мужчина?! Отныне не смей говорить со мной, не смей, ты, ты... — Бердиа хотел еще что-то сказать, но, заметив, что испуганные люди бежали без оглядки из двора церкви, а он стоял в одиночестве перед Иродионом и, кроме могильных плит, у него не осталось слушателей, умолк.

Пока не сгустились сумерки, одиноко сидел Бердиа в церковном дворе, совершенно сломленный, потом вдруг подскочил, как ужаленный, и помчался по крутой тропинке леса Богородицы, словно за ним гнался кто-то с намерением убить. Не кто-то, а самоуверенный хохот Иродиона как смерть, преследовал его, то и дело настигал и бил по сердцу, стараясь свалить.

Открыв калитку во двор, Бердиа по привычке посмотрел в сторону церкви. Еще не осознав случившегося, он думал, что как прежде увидит крест, с мольбой устремленный в ночное небо над лесом Богородицы, и когда не увидел, ему показалось, что одновременно опустели небо и земля, все исчезло и осталась только пустота, бескрайняя, глухая пустота...

\* \* \*

Шло время, а Бердиа, злейший враг лени, работяга, и дня не выдерживающий без дела, палец о палец не ударил. Обычно ласковый и добрый, сейчас он ры-

чал на жену и детей, если они о чем-то спрашивали. Был суров и с ним в чем не повинной скотиной, мог без причины хлестнуть кнутом, ударить палкой. Ночью ложился поздно, но и засыпая, не успокаивался, и во сне все время с кем-то боролся. Слонялся по двору с опущенной головой, а когда поднимал голову, глаза сами устремлялись к лесу Богородицы. И не находя в небе над ним креста, с захолаонувшим сердцем оглядывал свой двор, каменный дом с балконом, крепко сколоченный предками, каменные же хлев и марани и замирал в изумлении.

Догадавшись, что грызло его, жена посоветовала проведать родственников — развеешься, мол. Он послушался, навестил двоюродных братьев в Салиэти и пробыл там два дня. На душе и правда немного полегчало, и во вторник вечером Бердиа отправился домой. Наступила ночь. Дорога шла вдоль берега Хеорисцкали, местами скалистого. Бердиа привык ходить ночью и смело шагал по знакомому с детства пути.

Пройдя почти половину пути и оставив позади ущелье, где ведущая к Хомлети дорога соединялась с аробной тропой, спускавшейся с сакиварских гор, Бердиа вдруг заметил в темноте свет, мерцающий, как большой светлячок в ночи.

Бердиа сразу догадался, что идет кто-то с фонарем, и прибавил шагу: «Будет с кем поговорить, в беседе и не заметим, как дойдем». Приблизившись, Бердиа остолбенел, как пораженный громом... Он узнал человека с фонарем в руке — перед ним плелся, шатаясь, Иродион, пьяный, конечно, пьяный, может, даже до беспамятства. В душе Бердиа одновременно вспыхнули страх и радость, два эти чувства схлестнулись, и от этого столкновения он сам зашатался, как пьяный.

«Безбожник, безбожник, сатанинское дитя! Неблагодарный грешник, как нарочно, встрял на моем пути! Не буду ни догонять, ни обгонять. Я же сказал, что ненавижу его, я человек слова, умру, но сдержу его. Обогнал бы, но обязательно заметит. Он знает, как я его ненавижу. По пьянке же многие вспоминают обиду и срывают зло. Еще драться полезет, как намедни, когда ни за что ни про что поколотил клдисубанца Эрмиле».

Бердиа вспомнил тот скандальный случай: Эрмиле

так же нагнал в пути пьяного Иродиона и, решив, что ему надо помочь, взял его под руки, но Иродион заорал: «Кому нужна твоя помощь, доходяга!» — и с такой силой двинул его кулаком в челюсть, что у Эрмиле посыпались искры из глаз. «Не нужна, ну и черт с тобой!», — сплюнув кровь, Эрмиле пошел своей дорогой.

«А мне что за нужда догонять сейчас этого безбожника?.. Хотя, хотя... А что если на цыпочках догнать его около какого-нибудь выступа, неслышно подкрасться и будто случайно задеть плечом... Господи, пьяному ведь больше не нужно, вмиг свалится в Хеорисцкали. На земле этот наглец храбрый, даже чересчур, но, однажды испугавшись воды, плавать так и не научился, и... Обязательно утонет, если упадет в реку. Хеорисцкали не глубокая, но быстрая река, сердитая, к тому же сейчас поднялась, опасна даже для того, кто умеет плавать... Тем более, ночью... Непременно утонет, потом затянет его Гижура и ищи-свищи... Бог знает, найдут ли вообще? Даже если и найдут, кто узнает, как утонул? Вокруг ни души, только мы, два путника, я и он, один — страж леса Богородицы, второй — богоотступник; два путника — как жизнь и смерть. Да, мы вдвоем и... Еще темная ночь... Если не утопить его сегодня, завтра, наверное, будет поздно. Сорвав с церкви крест и колокол, он выполнит угрозу — и церковь разрушит. Потом вырубит лес Богородицы, склон оголится, начнутся обвалы, пойдут оползни, лавины, снесут в Гижуру и поле с виноградником, и дом с подворьем. А потому надо предотвратить это несчастье. Смерть безбожника спасет лес Богородицы».

Бердиа за свою жизнь не кинул камня даже в птицу, тем более не мог убить человека. Но сейчас... Сейчас утопить Иродиона необходимо. Необходимо как лекарство... Для всех... Люди поверят, что он наказан за грехи, это Всевышний покарал его за надругательство над святым крестом, и храм будет спасен от разрушения, а лес Богородицы от вырубки. Крест снова воздвигнут на купол, и паства вновь обретет прежнюю веру в Бога. Для этого надо пожертвовать одним безумцем, который не считается ни с кем и ни с чем.

Так чего же ты медлишь, Бердиа? Боишься греха? Сам Господь простит тебе гибель этого безбожника, сам Господь! Не может быть, чтобы Бог не поми-

ловал того, кто убьет человека во имя спасения Бога! Да разве это человек? Все, кто не поклоняется Господу, святотатцы, нелюди, звери. Кто не жалеет Бога, тот и человека не помилует, он опасен, и поэтому убить такого — не будет грехом, не будет, нет!

«Ты задумал отнять у меня Бога, отступник, у меня и у других... Нет, я не прощу тебе этого! Что из того, что я подарил тебе жизнь, все равно не прощу, потому что... Я не встречал более неблагодарного существа...»

Шум реки показался Берлиа воем голодного волка. Он тронулся с места и зашагал в сторону мерцающего светлячком фонаря.

\* \* \*

В четверг, на закате солнца, Клдисубани взбудоражили женские вопли.

— Вай, вай, вай! Погибли мы, погибли!

Во дворе Текле, жена Иродиона, распустив волосы, царапала лицо. Завывала, причитая, его мать — Фотинэ. Ревел Залико. На арбе под амбаром сидели два босоногих ребятенка, с удивленными мордашками. Они не понимали, что случилось.

Скоро сюда сбежались все клдисубанцы. И узнали, что произошло.

В то утро племянник Фотинэ Согратиа спустился из Сакивары посмотреть виноградник на равнине и по пути заодно заглянул к тетке.

— Иродион дома? — спросил гость.

— Что-о? — у Фотинэ от изумления расширились глаза. — Он позавчера с утра пошел к вам.

— Да, он был у нас. До вечера мы кутили, а как стемнело, он вдруг заупрямился: пойду, мол, домой. Отец не отпускал его: «Какое время идти, с ума что ли сошел, куда пойдешь пьяный в такую тьму, далеко ли до беды, ложись, выписься и трезвый утром пойдешь. Хочешь, и коня дам». Иродион ни в какую: «Я сегодня обязательно должен пойти домой!» Отец дал ему фонарь, и мы проводили его до околицы. Чего ты побледнела, тетя?

— Горе мне!

— Он что — не появлялся?!

— Вай мэ! Беда к нам пришла!

Фотинэ с племянником отправились на поиски Иродиона. Недалеко от бревенчатого моста на скалистом берегу Хеорисцкали нашли шапку Иродиона, сапог и разбитый фонарь.

— Несчастье, он утонул! Я хочу к нему, моему Иродиону! — Фотинэ чуть было не бросилась в реку, племяннику едва удалось ее удержать.

— Погоди терять надежду, — попытался успокоить он причитавшую тетку и повел домой.

Потом Залико с братом Севаро прошли вдоль Хеорисцкали до места, где она сливается с Гижурой, пошли дальше, но ничего не обнаружили и на берегах Гижуры. На следующий день, на закате солнца, семья объявила о гибели Иродиона. Сразу же возникло подозрение, что он не сам упал, а кто-то столкнул его. Врагов у Иродиона хватало!

Там, где Хеорисцкали сливается с Гижурой, вязали плоты пришедшие издалека чужаки. Недавно у Иродиона вышла с ними драка в придорожном духане, когда, напившись, они заспорили о Боге. Иродион раскровянил лицо одному из спорщиков, угрожал маузером другим. Избитый грозился убить Иродиона. Может, как раз он-то и подстерег его в ту ночь и столкнул в реку, благо с пьяным легче справиться. Пошли в духан, где ночевали сплавщики, а там сказали, что они только вчера связали три плота, спустили на воду и погна-ли баграми по Гижуре. Тогда Севаро предложил другое: может, в ту ночь они опять сцепились, и сплавщики убили в драке пьяного Иродиона, нарочно бросили на берегу его шапку, сапог и фонарь, а труп спрятали на плоту и где-то далеко выбросили в воду или зарыли в безлюдном месте.

Сейчас уже было трудно найти тех сплавщиков и разобраться, что произошло. Догадкам нужны были доказательства, а свидетелей не было.

Целый месяц, до холодов, искали труп на обоих берегах Гижуры. Не нашли. Не обнаружили в окрестностях Гижуры и свежевскопанной земли.

Вместо трупа семья оплакивала одежду Иродиона.

Вскоре умерла Фотинэ, прижимая к груди одежду сына. Мать похоронили вместе с одеждой пропавшего Иродиона.

— Сплавщики ни при чем, это грех настиг без-

божника и святотатца и так покарал, что даже похоронить не дал, — поговаривал Пармен. — Иродион швырнул крест с купола прямо на верующих, церковный колокол сбросил на могилы, чего же можно было ожидать? Тогда отец небесный промолчал, дал грешнику время одуматься, но тот и не подумал очиститься покаянием оскверненную неверием душу, и тогда Господь покарал его.

Пармена поддерживали многие.

Известие о бесследном исчезновении Иродиона облетело горы и долины. Задумались даже те, кто раньше не верил в Бога: «А, может, и вправду он есть?». На церковь, иконы и лес Богородицы стали смотреть с благоговейным страхом. Словом, со странным исчезновением Иродиона в Хомлети вновь поверили в Бога.

Только сейчас убедился Бердиа, что оба раза был прав: и тогда, когда желал, чтобы богоубийца свалился с купола, и потом, когда догнал грешника на дороге.

«Воистину, воистину, — думал страж леса Богородицы, — для спасения Бога от смерти нужна была смерть хотя бы одного безбожника... Ружьем и пушкой Бога не спасти — ни на небесах, ни в сердцах людей, и церковь, и лес Богородицы не защитит оружием, нужен другой страх, хотя бы страх, что на том свете спросится за грех, совершенный на земле...

Бердиа успокоился: спасен от истребления лес Богородицы, спасен и его очаг — не придется бросать дом предков.

\* \* \*

Залико не примирился с тем, что не найден труп сына. Зная, что река обычно долго прячет утопленников, а потом где-нибудь выбросит, он продал корову с теленком и нанял трех опытных мужчин для поисков трупа. Сам обошел все прибрежные деревни и попросил сразу же известить его, если заметят где-нибудь утопленника.

Спустя полгода, когда Гижура поднялась по весне, нанятые мужчины нашли труп. Река протащила его почти сто километров и, наконец, упрятала во впадине. Труп был безглазый, видно рыбы или выдры выели, носа тоже не было. Посиневшее, опухшее тело тоже было изъедено... не понять, убили Иродиона или он сам уто-



нул... Более того, близкие вряд ли узнали бы Иродиона в изуродованном трупe, не сохранились на нем брюки хаки и широкий пояс с большой пряжкой. Как только труп достали из воды, он начал разлагаться, поэтому там же на скорую руку сколотили гроб, уложили в него утопленника и, плотно закрыв крышку, повезли на машине в Хомлети. Там, подержав часа два во дворе, понесли на кладбище. Могильщики, словно нарочно, вырыли могилу не рядом с Фотинэ, а как раз там, куда рухнул сброшенный Иродионом крест. И на том месте появился могильный холм без креста.

«Хорошо, что матери не довелось увидеть его таким изуродованным, все равно бы сердце не выдержало», — говорили люди.

Некоторые возмущались: «Нечестивому грешнику не место в церковной ограде».

Изуродованный труп Иродиона многих еще больше убедил, что Всевышний жестоко карает грешников и безбожников — даже лишает человеческого облика.

Скрытый Бердиа не говорил о покойнике ни плохого, ни хорошего, зато другие говорили вместо него: «Милосердный Бердиа однажды спас его, но, видно, от судьбы не убежишь, на роду у него было написано погибнуть от воды, рок, хоть и позже, все равно настиг его».

Так было или иначе, но с той поры Бердиа за версту обходил родственников покойного Иродиона, зная, что не сможет посмотреть им в глаза.

К тому времени там и тут опять стали поговаривать, что Иродиона намеренно или случайно убили лесосплавщики, увезли труп на плоту, чтобы скрыть кровавый след. Залико целый год искал доказательства так же настойчиво, как труп сына, но, убедившись, что мучается напрасно, примирился с судьбой. Тяжесть на сердце не дала ему прожить долго, и вскоре его похоронили рядом с сыном.

Истинную тайну смерти Иродиона знали только двое — Бердиа и всемогущий Бог, если он действительно существовал.

— Господи, я не убивал, не убивал! Отец небесный, если ты есть, ведь ты знаешь это? — шепчется сам с собой лежащий в постели Бердиа.

Идущий из Салиэти путник двинулся к свету мерцающего, как ночной светлячок, фонаря, приблизился к человеку, который, напевая, шел, раскачиваясь так же, как фонарь в его руке, и... Словно кто-то неожиданно пронзил его в спину, он остановился, затаив дыхание.

«Почему, почему я должен нарочно толкнуть его? Вдруг Господь и убийство грешника посчитает грехом? Почему я должен лишиться жизни спасенного мною некогда, кто бы это ни был? Может быть, на том свете нас в самом деле ожидают рай и ад, зачем же мне отправляться туда человекоубийцей? И на этом свете я хочу прожить спокойно, не запятнав душу человеческой кровью. Отец небесный всемогущ, пусть сам спросит с грешника, накажет по заслугам. Да, так будет лучше, пусть он упадет сам, без моей помощи. Воистину, так лучше, лучше. Впереди опасный путь — сначала отвесные скалы, потом мост без перил через Хеорисцкали...

Именно этот мостик внушал Бердиа надежду. Месяца три назад на его месте был прекрасный мост с перилами, а недавно его снесло наводнением. Вместо моста временно положили два бревна, только и всего. Этот богоотступник, верно, и не помнит сейчас, что нормального моста здесь уже нет, порой и трезвый забывает многое, а этот пьян в стельку, а по дороге хмель, видать, сильнее стукнул в голову, вон как ноги заплетаются. Он ни за что не пройдет по этим бревнам, ни за что. Так чего же брать на душу грех, когда...

Стремительная река взмывает над острыми валунами, потом бешено бурлит у крутых скалистых выступов. Упав на камни, человек непременно разобьется, если же каким-то образом останется в живых, потеряет сознание, вода понесет его и затянет в страшный водоворот. Пусть тогда герой борется с Господом на том свете...

Идет, шатаясь, Иродион, за ним в отдалении следует Бердиа. Он не привык ходить так медленно, трудно ему подстраиваться под пьяного, но надо, не обгонять же его...

Пьяный шатается так сильно, что непременно свалится и тогда...

Сердце Бердиа готово было разорваться.

Может, спасти его? Не дать погибнуть?

Одна половина сердца просит: помоги ему перейти через мост, другая отказывается.

«Ради чего спасти мне его, ради чего? За одним неверующим могут последовать тысячи, он страшен и опасен для всех. А неверие столь коварно, что уничтожает все, чего коснется. Не то что лес, трава не растет там, где оно пройдет. Хм! Смотрите-ка, как этот нехристь преспокойно себе напевает! Я не дотронушь до тебя, грешник, но и не помогу. Хоть и жалко тебя, но не помогу. Ты смеешься надо всеми и всем, неблагодарный, и потому я прав, абсолютно прав. И отвечу перед Отцом Небесным. Иди, иди, шатайся, еще немного и дойдем до моста. Покарай, Всевышний, твоего убийцу, пожелавшего лишить людей твоей милости! Забери его, пока не совершил большего греха! Гибель святотатца излечит все село, убьет неверие, преградит путь злу. Отец небесный, покарай грешника, чтобы другим неповадно было грешить! Отец небесный!..»

Вот чудо! Или Бог действительно услышал тихую мольбу стража леса Богородицы, или пьяного обманула тень фонаря и ему где-то здесь померещился мост, но он неожиданно свернул, зашатался, покатился по отвесному склону и упал на высокий выступ. Все произошло в секунду. Фонарь погас. И теперь в ночи раздавался лишь рокот Хеорисцкали.

Бердиа не услышал крика или вздоха, не увидел, куда упал Иродион — в воду или на берег. Ничего не понял Бердиа в ту ночь, ничего. Только вдруг стало так жутко и тревожно на сердце, словно он сам невольно столкнул Иродиона. В ту минуту ему стало страшно даже оставаться одному в темноте.

Раньше он и не в такие темные ночи смело шагал по этому мосту, а в ту ночь робко переставлял ноги, как ребенок, который учится ходить.

Домой Бердиа вернулся еще более встревоженным. То и дело мысленно доказывал кому-то:

«Я же спас его до того, как он восстал против Бога? Спас. Взял что-нибудь за это в награду? Ничего, я поступил по-божески. И у Хеорисцкали я близко к нему не подошел, он сам свалился пьяный... Здесь отмстилось ему, сам Господь покарал его. А я не грешен, не грешен, нет!..»

Я мог спасти Иродиона, мог. Но ведь могло случиться и так, что богоступник, как обычно, нагло и высокомерно оттолкнул бы меня. И так могло быть. Поэтому я не виноват, что не помог...»

Травой заросла могила Иродиона. Обыкновенной травой заросли могилы Фотинэ и Залико. По-прежнему всходило и заходило солнце, исчезала и появлялась луна. Плыли облака. Громко журчали Хеорисцкали и Гижура. Без креста, колокола и священника стояла хомлетская церковь, но люди все же ходили в нее молиться. И лес Богородицы шелестел по-прежнему, по-прежнему сладко пели в нем птицы, и Бердиа, как раньше, бережно ухаживал за лесом Богородицы.

А одним обычным весенним утром, когда пробуждается земля, Бердиа услышал знакомый голос славного колокола и задохнулся от радости, в его сердце тоже зазвучал колокольный звон. Решив, что это старая колокольная созывает прихожан в церковь, Бердиа выбежал во двор и прислушался. Колокольная молчала. Мгновенно потухла радость Бердиа, он понял, что колокол, сброшенный с церкви, звонит во дворе конторы новой артели. Недолгой оказалась радость Бердиа. Он зажмурил глаза — может, это снится ему, но колокол продолжал упорно звонить и сейчас уже резал слух. Вскоре он окончательно убедился: колокол, который раньше созывал село на молитву, сейчас звал всего лишь на собрание.

Потому ли, что сброшенный со старой колокольни колокол повесили меж двух столбов во дворе конторы, или потому, что церковь долго оставалась без креста, без колокола и без священника, но постепенно перестали зажигать там свечи и молиться иконам. В соседних с Сакивара и Хомлети селах разрушили все молельни и сожгли иконы, осквернили и старые кладбища в церковных дворах, железные ограды разбили, собрали и унесли все надгробные камни, с надписями и без надписей.

— Хотя бы покойников пощадили! — кричали верующие.

Но их никто не слушал. Умершие остались лежать в своих могилах, а надгробные плиты пошли на строительство школы, кооператива, конторы. Часть камней с надписями оказалась в стенах нового клуба, другая

превратилась в лестницу сельсовета или подпирала «красные амбары» — и могильные камни зазвучали совсем иначе.

Теперь, вместо усопших, о прощении и отпущении грехов молили магазин, контора, клуб, сельсовет, «красные амбары» и даже новое здание школы. Некоторые постройки жаловались прохожим на безвременный уход в мир иной.

В этих деревнях «Бог не наказал» никого из тех, кто взрывал церкви, сжигал иконы, уносил могильные плиты, никто не умер таинственной смертью, не сошел с ума, ни у кого не отсохли ноги или руки. Поэтому неудивительно, что вновь обретшие веру в Бога хомлетские прихожане быстро забыли «кару Всевышнего», которая постигла единственного богоубийцу в одном из сел.

Никто, правда, не разрушал церковь, стоящую над лесом Богородицы, никто не прикоснулся и к тамошним надгробным плитам, но опустевшую, без креста, колокола и священника церковь заливают дожди. Давно уже некому почистить замаранные подтеками иконы, у Иисуса Христа виден только один глаз, Мать Божья протянула к нему руки, вот-вот упадет на каменный пол... Кажется, что иконы плачут. Плохо, очень плохо Богу, но некому ему помочь.

Видимо, не только разрушение Божьих храмов убивает веру человека. Жизнь течет по своему избранному пути, движимая новым смыслом. Из-за этого и опустела постепенно церковь. Сейчас некоторых не зазовешь сюда ни под каким предлогом, даже если шапку забросишь, не зайдут, чтобы вынести. А какой толк от церкви, где нет истинно верующих, где никто не молится? Опустела хомлетская церковь.

Поднимаясь сюда, Бердиа встречает очень мало народу. Только старухи и старики, которые еще не потеряли веру в Бога и в вечную загробную жизнь. Никто не хочет умереть навсегда, каждый хочет быть бессмертным, хотя бы на том свете. Но и эти верующие быстро уходят домой, и Бердиа остается в одиночестве.

Вот и сейчас, в этот осенний день, Бердиа сидит один недалеко от церкви на черном валуне Гормагальского хребта и смотрит на деревни, раскинувшиеся по

обе стороны места слияния двух рек — Хеорисцка-ли и Гижуры.

Можно подумать, разморило мужика на осеннем солнышке, и он задремал. Только Бердиа с трудом засыпает даже в постели, не то что здесь. Так, с закрытыми глазами, иногда вздохнет, покачает головой. Печалило его то, что так изменилась жизнь, люди отвернулись от церкви, перестали верить в Бога, но еще горше ему было оттого, что он сам начал сомневаться: «Может, Бога и вправду нет, а я напрасно пристаю к нему со своими молитвами». Тем не менее, он продолжал верить в Бога, хранителя и спасителя леса Богородицы, от которого зависело не только состояние души Бердиа, но судьба отчего дома, поля и виноградника. Бердиа превратился в неусыпного стража леса Богородицы, ангела-хранителя его очага, ночами бдительно следил, чтобы кто-то из неверующих не проник с топором и не срубил хотя бы один дуб. Бердиа охранял дубняк с собачьей бдительностью.

Но утратив страх перед божественной силой, народ недолго верил в неприкосновенность леса Богородицы. Сначала тайком срубили один дуб, потом второй, третий, четвертый и... Пропало благоговение перед лесом Богородицы, люди средь бела дня приходили с топорами, не таясь, бесстыдно, со смехом, словно кому-то назло, ожесточенно срубали деревья.

Когда из леса Богородицы доносились удары, Бердиа вздрагивал, точно топоры били по его сердцу, но ничего не мог поделать. И будто желая распалить Бердиа, вся деревня размахивала топорами здесь, именно в лесу Богородицы, словно в окрестностях Хомлети не было другого леса. Вырубили все деревья вокруг двух вековых дубов, с которыми сросся старейший колокол, дубы не тронули, но, осиротев, они вскоре зачахли сами.

Раненный в самое сердце Бердиа не хотел даже смотреть в сторону склона, который в сумерках походил на коленопреклоненного в мольбе человека, простершего к небу руки. Вырубленный лес обнажил на вершине хребта и сиротливую церковь, у которой отняли крест. Церковь напоминала Бердиа широкоплечего богатыря, которому отрубили голову. Безмолвствовал богатырь. Не слышно было и того, о чем молил Всевышнего склон, похожий на коленопреклоненного

молящегося. Может быть, заклинал сохранить хотя бы два этих древних дуба? Но для чего ему засохшие дубы? Засохшее на корню дерево годится только на дрова. Или дубы нужны ему, чтобы поддерживать старинный колокол? Но до каких пор, до каких пор?

И такой день наступил. Стоя во дворе, Бердиа увидел, как дубы одновременно подломились и со скрежетом рухнули. Сначала он подумал, что в дубы ударила молния, но, не заметив на небе ни одной тучки, догадался, что их свалил ветер.

Освободившийся колокол покатился по безлесистому склону, со страшным грохотом промчался мимо двора Бердиа, оставив бывшему хранителю леса Богородицы скорбный выдох: дуум, дуум, дуум! И навечно умолк, упав в Гижуру. В голосе скатившегося со склона колокола Бердиа в ту минуту слышался хохот Иродиона, и он, как и колокол, исчез в реке, замолчал вместе с ним.

Только на минуту померещилось это Бердиа, только на минуту. А потом почти год гудел обреченно и тревожно в его сердце колокол, как в тот день, когда стремительно промчался по оголенному склону, дуум, дуум, дуум! И спутником того обреченного тревожного гула был хохот Иродиона, но в конце концов и голос колокола, и хохот, сопровождавший его, замолкли навечно.

Когда в лесу не осталось деревьев, люди взялись за пни. И года через три склон совершенно оголился, закаменел, ливневые потоки так избороздили его, что на нем не рос даже ковыль. Три чудесных родника, журчавшие прежде в лесу, иссякли, Бердиа и соседям пришлось далеко ходить за водой. Но не это страшило семью Бердиа. Все чаще врывались во двор бешеные потоки, наводнение погубило кукурузное поле, а вскоре и виноградник. Голые скалы науськивали на дом Бердиа огромные валуны, угрожая ему гибелью, вынудили оставить очаг предков и перебраться по ту сторону Гижуры.

Даже деревца не сохранилось на склоне, конечно же, и птицы не могли там оставаться. Ветер давно превратил в пыль их гнезда. Как чудесный сон, вспоминал Бердиа волшебное, ангельское пение птиц в лесу Богородицы. А вот переключку филинов слышал по-

прежнему. Прекрасно знал, что нет там их гнезд, и в небе они не летают, а все же ясно, даже чаще, чем раньше, слышал их голоса.

— Не нашел?...

— Нет, нет, нет!..

И тогдашние мысли сейчас чаще будоражили душу Бердиа: «Что ищут люди, превратившиеся в филинов? Может, это неважно? Главное, что ищут. Наверное, это главное, а все остальное — выдумка... Все счастливы, и человек, превратившийся в филина, находит счастье в этом поиске... Сам этот поиск, наверное, счастье, в нем — надежда, которой человек живет до смерти... И все же, что они ищут, что? Спрятанный клад, недостижимое вечное счастье, человеческое утешение, душевное спокойствие?.. Но где ищут, если уничтожен лес Богородицы?.. В небесах ищут? Найдут ли там? Что ищут филины, что? Господи, не дай умереть, не поняв, что они ищут! Господи!..»

\* \* \*

— На что ты так внимательно смотришь, отец? — спросила Ариадна.

— На хребет за Гижурой. В старину, оказывается, князь целиком обнес эту гору изгородью, пустил туда оленей. Как взбредет в голову, пускал на них охотников или сам охотился. А теперь здесь не то что олени, зайцы не водятся. Ах, как меняются время и жизнь! Все течет и меняется...

— Тоже мне новость. Жизнь она и есть жизнь, чтобы течь и меняться, а как же! Нашел, из-за чего переживать! Успокойся, отдохни, отдохни!

\* \* \*

«Может, лес Богородицы вправду был моим духовным домом, — вздыхает Бердиа и смотрит через оконный крест на каменистый склон без леса и травы. — Может, душа моя принадлежала тем дубам и во мне жил дух леса Богородицы? А когда лес вырубил и крутой склон оголился, опустел, моя душа тоже опустошилась... Вернее, обнажилась. Отняли у той земли силы, и я стал бессильным? Нет, нет, нет! Это ужасно, когда душа человека опустошается, обнажается! Не хочу, не хочу, не хочу! Ты ужасна, жизнь! На что ты надеешься-



ся? Повернуть реку вспять? Обратить время в коня на привязи? Не получится! Время никому не подвластно, никого не слушает. Колесо жизни вертится по своей воле, а я захотел его остановить. Думал пасти доброе — свое и чужое. А жизнь идет безостановочно своим путем. И даже если к гибели идет, все равно ее не остановишь. Сейчас она движется неизвестно куда. В Бога, в которого я верил, не верят люди новой жизни, это поколение верит совсем в другое. Да, эти люди не верят в моего Бога, кажется, потому и моя вера пошатнулась... что слишком многие не верят в незримого Повелителя... — Бердиа сокрушенно вздыхает. — Кажется, они правы, Бога действительно нет ни на небесах, ни на земле, ни на этом свете, ни на том... А я принес в жертву Богу, который, может, и не существует вовсе, человека... Неужели я погубил человека напрасно? Неужели?.. Может, вообще все жертвы, которые мы приносим Богу, напрасны? Если ты есть, Господи, не гневайся за мои сомнения, ведь и они тобой вызваны!..»

«Эх, Бердиа, Бердиа, сегодня думаешь так, а тогда... — опять же в мыслях отвечал второй Бердиа. — Тебя называли Божьим человеком, ты ухаживал за лесом Богородицы. Ты не просил за это никакой платы и награды. Но лучше признайся в грехе: ведь там, на склоне, у подножья леса стоял каменный дом, построенный твоими предками, там же — твои поле и виноградник, потому-то ты так бдительно охранял дубняк. Крестьянская сметка подсказывала, что, если вырубят лес на склоне, ты погибнешь от наводнения или обвалов. Потому-то ты поклонялся Богу и не сводил глаз с леса Богородицы. Мечтал, чтобы Иродион сорвался с церковного купола якобы только для того, чтобы спасти души прихожан, да, так оправдывал гибель человека, словно эта жертва нужна была только для того, чтобы сохранить пастве веру в Бога. Ты лицемерил! Знаю, в глубине души ты думал совсем о другом: «Если спасти веру в Бога в душах верующих, будет спасен и лес Богородицы, а вместе с ним мое жилье». Ты переживал не только из-за Господа и леса Богородицы, тебя больше волновала, беспокоила собственная выгода. Хоть сейчас признайся, что любил Отца небесного только ради себя, и того человека не пожалел лишь ради спасения собственного жилья...»

Отныне Бердиа ежедневно спрашивал себя: «Прав я был или нет в ту ночь, когда не помог Иродиону?» Душевное раздвоение превратилось в мучительную пытку. Он без конца взвешивал свое тогдашнее поведение. Смерть Иродиона не спасла лес Богородицы, лишь на время напугала людей. В деревне скоро забыли о «грешнике», которого «сурово покарал Бог». Ведь Иродион был не одинок, у него было множество единомышленников и помощников. Гибель одного человека не могла сдержать ту лавину, то могучее течение, которое несло новое время. «Для чего, для чего пожертвовал я человеком, если это не заставило людей одуматься! Ведь я мог, забыв обиду, последовать за ним и спасти в ту ночь так же, как когда вызволил его из волн Гижуры? Утони он тогда, может быть... Впрочем, может, и то, что я спас его от неминуемой гибели, тоже не было благодеянием? Ради чего я спас его? Чтобы он потом, как копье, швырнул в меня колокол и крест? Убил веру в Бога у людей, а потом, словно выполнив великий долг перед всеми, утонул? Или — неужели для того я однажды спас его от воды, чтобы во второй раз дать ему утонуть? А ведь мог помочь. Коли не помог, значит, я убил его, и все! Видишь, что человек гибнет, можешь помочь и не протягиваешь руку, это, наверное, еще хуже убийства! Ох, как коварна ты, жизнь! Зачем же я не пожалел его, зачем, если не спасли и Бога, и лес Богородицы? Жертва оказалась напрасной, выходит, я — человекоубийца? Ради чего я содеял это, ведь грех сейчас давит на меня и не дает покоя? Но коли Бога нет, кто спросит с меня? А, может, невидимый Бог сидит во мне? Да, какой-то Бог, наверное, есть, есть. Ведь сейчас я мысленно разговариваю с ним. Есть Бог, есть, и церковь нужна была... Не для Бога, для человека. Богу, наверное, и ни к чему такой храм, ему весь мир принадлежит. Это нам необходимы и церковь, и вера в Господа. Но жертва? Жертва для чего нужна была Богу? Отец небесный, объясни!..»

\* \* \*

- Старуха, налей-ка мне вина!
- Не пил бы сегодня, и так беспокойный.
- Потому и хочу выпить, что беспокойно на душе, может полегчает.



— Да уж... ладно, не сердись, налью. — <sup>Ариадна</sup> потянулась к остроносому кувшину, налила вина в стакан и подала мужу в постель.

У Бердиа задрожала рука, словно он пил поминальный тост, и вино пролилось на простыню. На полотне появилось большое красное пятно.

— Что у тебя за привычка наливать с верхом? — не жену упрекнул, а больше в свое оправдание проговорил Бердиа. — Ничего, чья-то душа попросила вина... Да ладно, чего уж там, чья... Его я вспомнил, его... Эх, какое несчастье произошло в прошлом году, какое несчастье... И разве только рок виноват в этом?

— Не надо вспоминать тот проклятый день, не надо, отец!

— Хорошо, хорошо, царство небесное всем, кто ждет нас на том свете! — Бердиа не спеша выпил, отдал стакан жене и уставился в потолок.

\* \* \*

Поглотив колокол, Гижура затянула его на дно, и никто не знает, захоронила в песке или утащила далеко, никто не видел этого, никто и не пытался достать колокол.

На голом склоне давно не встретишь и следа деревьев, а хомлетцы по-старому зовут его лесом Богородицы. Только и осталось от большого склона прежнее имя. Не сохранился и дом, стоявший у его подножья. Прямо в том месте проложили шоссе. А в прошлом году как раз там случилось такое, врагу не пожелаешь!

От черной скалы Гормагальского хребта оторвалась огромная глыба, беспрепятственно прогрохотав по склону, врезалась в ехавший по дороге грузовик, столкнула его в овраг и сама навалилась сверху. Погиб и шофер, и все пассажиры в кузове — семь мужчин, ехавших на покос в горы. Окровавленные человеческие останки перемешались с обломками машины. Целую неделю скорбило Хомлети. В траур оделись семьи Иродиона и Бердиа. Шофером был старший сын Иродиона, уже женатый Залико, тезка деда, а среди косарей оказался младший сын Бердиа, тоже семейный.

В том, что обвал произошел именно тогда, когда по дороге проезжала машина, люди обвинили рок. Это так:

человек припишет любое несчастье року, чтобы успокоить себя — таково, мол, предписание свыше, беда происходит по воле Всевышнего, и надо смириться.

Неожиданное несчастье заставило Бердиа, хоть он и верил в рок, думать иначе:

— Только ли рок виноват в этом? Скорее всего, людей погубил давно погибший человек. Его злой дух столкнул тот черный валун и... Одновременно убил и своего сына, и моего. Если с кем-то поделиться, скажут, что я свихнулся. А вель не сбрось Иродион крест и колокол, и склон леса Богородицы не оголился бы, и обвала не произошло. Недаром я опасался, что лес Богородицы уничтожат, предчувствовал это несчастье, и вот, сбылось. Точно, Иродион погубил невинных людей, он не только богоубийца, но и человекоубийца. Я был прав, когда не спас его в ту ночь, он не был достоин жизни. Еще больше зла совершил бы, оставшись живой. Я не грешен, не грешен, нет! Я не толкал его, я просто не помог...

Проходило время, и Бердиа уже думал иначе:

— Почему, почему обвиняю Иродиона? Может, чтоб оправдать свое поведение в ту ночь? Наверное, тот, кто погубил человека, всегда найдет оправдание своему поступку. Потому столько грешников на земле. Грех, грех... Кто знает воистину, что такое грех, а что праведность?.. Если ты есть, Господи, помоги понять!

\* \* \*

После гибели сына Бердиа как-то сразу сломался, постарел и слег.

Засыпая, тотчас слышал звон колокола. Не того, что висел в лесу Богородицы, и не с колокольни, но другого, более далекого. Колокол звонил то в небе, то на земле. Каждый раз этот далекий звон пугал Бердиа, как гроза, он постоянно просыпался в страхе. Сердце старика готово было выпрыгнуть, хотя вокруг царил тишина. Часто могильная тишина тоже пугала его, он не знал, куда от нее убежать. Порой мысли и действительность, сон и явь переплетались, и он не понимал, что происходит вокруг. Каждый день ему по нескольку раз мерещилось, что дубы в лесу Богородицы склонились и, простерев руки-ветви, о чем-то умоляют то ли небо, то ли самого Бердиа. Безголосой была их

мольба. Бердиа не слышал, о чем умоляют его деревья, небо, наверное, тоже не внимало их мольбе.

А в одну звездную ночь к Бердиа явился Бог. Как тот, что был нарисован на стене хомлетской церкви. Только старик не понял, сон это был или явь. Бог завел с ним речь о грехе и праведности, напомнил событие той ночи.

— Почему ты погубил того человека?

— От хотел убить тебя, Отец небесный.

— Если бы ты в душе не отрекся от меня, до конца сохранил бы веру, меня бы никто не убил. Меня можно спасти, не убив человека, а придя на помощь, когда ему трудно, когда он в опасности! Вот какой я Бог, понял? Понял? Что молчишь?

— Да вроде понял... Эх, только поздно...

\* \* \*

Сегодня тахта приставлена ко второму окну. Бердиа согнулся в позе молящегося, ладони под подбородком, локтями опирается о подоконник и смотрит вдаль, на заходящее солнце. Он в одной рубашке, ниже пояса накрыт простыней. Редкие седые волосы взъерошены, некогда могучий, он отощал, выпирают кости на плечах, на восковом лице остались только глаза, пальцы тоже восковые.

— Эх, жизнь... — горестно вздохнул Бердиа.

— Что ты без конца вздыхаешь, отец? Раньше такого не было, — проговорила Ариадна. — Куда ты так уставился?

Молчание. Это молчание мучает Бердиа.

— Ариадна, ты же жена мне?

— Да ты что, всю жизнь вместе в одной упряжке протопали, и сейчас спрашиваешь, жена я тебе или нет? Совсем ты ополоумел! Да, догадалась, догадалась, о чем-то попросить хочешь. Вина еще дать, или?..

— Вина? Нет, не хочу. Хочу поведать тебе один давний случай.

— Кроме меня, наверное, еще кого-то любил?

— Да, любил... Бога.

— Любовь ко мне и к Богу и раньше не мешали друг другу, тем более сейчас. Мы с Господом как-нибудь примиримся. Это и есть твоя вина?

— Что-то хочу спросить, Ариадна.

— Сколько хочешь спрашивай, дорогой, не стесняйся, смогу — отвечу.

— Как ты считаешь, есть Бог в конце концов или нет?

— Я думаю, думаю... — запнулась Ариадна. — Для кого есть, для кого нет. Наверное, так. Кто по-прежнему верит, для того есть, кто не верит, для того нет. Знаешь, что мне сказал доктор в прошлом году? Если в силу лекарства не согласишься, не вылечишься. Видно, Бог тоже как лекарство. Так ли, не так, я хочу, чтобы он был. На старости лет мне осталось одно утешение, что буду жить и на том свете, как же отказаться от этого утешения, как забыть Бога перед вратами Божьими? А вообще, каждый живет своим умом. Разве не так, отец?

— Может, и так. Жизнь нам кажется короткой, короткой... Вот и хотим, чтобы она не кончалась.

Снова молчание, более продолжительное. Оно не дает покоя Бердиа.

— Ариадна, подойди поближе.

— Да я и так рядом, куда ближе?

— То, что я вчера прошептал вслух и ты услышала, это дума моего сердца, правда, исповедь... В ту минуту я не до конца признался, а сейчас скажу.

— О какой думе ты говоришь?

— Я не убивал его.

— Ты сведешь меня с ума! Кого не убивал?!

— Иродиона, сына клдисубанца Залико.

— Странные вещи ты иногда говоришь, разве тебя кто-то обвиняет? Все знают, что Иродиона убили или сплавщики плотов, или он сам свалился в воду и утонул. Ты же не убил Иродиона, а спас. Все перепутал? И чего ты вспомнил ту старую историю, в селе о ней почти никто не помнит.

— Ничего я не перепутал. Сплавщикам напрасно приписали этот грех, они ни сном ни духом не ведают о его гибели. Только я знаю, что с ним случилось на самом деле. Он упал в Хеорисцкали.

— Кто тебе донес такие подробности?

— Я все видел своими глазами, как сейчас вижу тебя.

— Так чего же тогда не рассказал?

— Мне бы не поверили.

— Почему не поверили бы? Они же сами догадались, что он свалился?

— Не поверили бы, что не я столкнул его. Вся деревня знала, что мы поругались во дворе церкви и враждовали... На месте других, может, и я бы не поверил. А в ту ночь я догнал по дороге пьяного Иродиона. Как свои пять пальцев, знал, что ему не избежать беды, обязательно свалится с выступа или с моста. Я мог помочь, но... не помог. Решил, что таким образом спасу лес Богородицы и многое другое. Эх, если бы я знал, что так будет... Видит Бог, не принес бы его в жертву. Всю жизнь это лежало камнем на сердце, никому не признался, и сегодня только тебе доверяюсь, как на исповеди. Не хочу на тот свет забирать с собой эту печаль... Скорее, это и не печаль, а глыба, которая давит на сердце, но которую никто не видит... А потому еще тяжелее... И кошмар, который душит, грызет, терзает душу и сердце... Грызет, и никто не видит этого... Спасибо тебе, спасибо, что до конца выслушала мою тайну... Мы же всегда тянули одно ярмо... Когда у меня отняли церковь, ты стала мне церковью... Ты была моим первейшим Богом-утешителем... И ангелом ты была... А сейчас ты мой духовный исповедник...

\* \* \*

В ту ночь Бердиа увидел белую лестницу, приставленную к небу. Обрадовавшись, как ребенок, словно на крыльях побежал он к ней. Долго поднимался по белой небесной лестнице, все выше и выше, не сводя глаз с одинокой сверкающей звезды, которую избрал своей судьбой. Одинокая звезда мерцала в небе, как большой светлячок в ночи. Только сейчас догадался Бердиа, что эта звезда-одиночка похожа на дальний свет фонаря, который раскачивался перед ним в ту безумную ночь.

Вот он приблизился к ней. Осталось только поднять руку, и он дотянется до звезды... Дотянется, и она навсегда будет его. Секунда, нужна еще только секунда... Но эта секунда затерялась в бескрайнем небе... Что сделало руку такой бессильной? Он с трудом вяло поднял ее, растопырив пальцы-соломинки, дотронулся до звезды и... Звезда мгновенно исчезла, будто упала в бездонную пропасть.

В это время из глубины бескрайнего небосклона, а не с вершины обнаженного склона, выкатился онемевший колокол. «Кто отнял у этого благословенного колокола голос?..» — только и успел подумать человек, раскачивающийся на белой лестнице, приставленной к небу, как онемевший колокол рухнул ему на грудь...

Будто отрубленная, упала рука, пытавшаяся схватить звезду, и Бердиа умолк навеки, как безголосый колокол, погребенный в реке.

Перевод Раисы СЫРОВАТКИНОЙ







## Манана

В Познани живущей грузинке  
М. Квалишвили.

Цветок, расцветший на земле чужой,  
Я — дзамие,  
Нас недруг не разнимет!..  
Кто в мыслях о тебе кривил душой,  
Пусть не увидит Грузии отныне.

Судьба носила твоего отца...  
Но что в прошедшем бесполезно рыться?!  
Во благо, надо думать,  
И как царь —  
Нарек тебя он именем царицы.

Твою улыбку видеть мне дано...  
Свет неба воспоил тебя и росы,  
Ты — саженец, похищенный давно,  
Здесь,  
На земле чужой, —  
Расцветший розой.

Но отчего твои глаза грустны?  
Слезинок бисер...  
Приезжай —  
Увидишь!—  
Там, в ежевичных зарослях густых,  
Так просто ободрать колени...  
Выйдешь,  
А небо —  
Пред тобою...  
Приезжай!  
Я от души сказал —  
Не до веселья...

Есть в Грузии красавицы,  
Но жаль,  
Что украшаешь ты чужую землю.



Перевод Владимира ТЕРЕЛАДЗЕ

## Белла

Молчат стены «Хвамли»,  
Все понимая...  
Молчи и ты, раз такое дело,  
Если стихи произносит, рыдая,  
Ахмадулина Белла.

То она, как еж,  
К тебе иглами тянется,  
То мягка,  
Словно амброй надушена.  
То она — словно нищая странница,  
То она — наследница Пушкина.

Обводит взором всех постепенно  
На одиночество обреченный  
Ангел в каменных стенах,  
Ястреб, испуганный, заточенный.

Навсегда на ее лице отраженное  
Сияние Марины и Анны.  
Вся она — струна напряженная,  
Но не рвется; и это странно.

В благодарность за вскрытые словом вены,  
В благодарность за наши муки,  
Как ребенку, нежно и откровенно,  
Давайте расцелуем ей руки.

Приласкаем ее,  
Как собаку гончую,  
Ведь у женщин по ласке тоска постоянная...  
Вот она рыдать уже кончила,  
Идет, покачиваясь, как пьяная.

Осторожней:  
Она — не ветка граната!  
Не вздумайте с ней обращаться вольно,  
Не пытайтесь взять ее в руки, ребята.  
Осторожней — высоковольтно!

Не подумайте,  
Будто вина или рахи  
Она много сегодня выпила —  
Просто нынешней ночью, во мраке,  
Она сон о Грузии видела.

Перевод Германа ПЛИСЕЦКОГО

## Снег

Он ласковый,  
Он без огласки,  
Храня молчания обет,  
Стирает все цвета и краски —  
Непобедимый белый снег.

Идет,  
Порыв ветров изведав  
И погружаясь в белый сон.  
То, что не бел,  
А фиолетов  
Видал один Галактион.

Он в небе с облаками не был  
И с сединою в волосах,  
Снег — это, видно,  
Только пепел  
Мечты, сгоревшей в небесах.

Пусть вихрь  
Смутит его некстати,  
В тумане он,  
Как после сна.  
Он хрупок, как душа дитяти,  
И так жесток, как тишина.

Но снег —  
Он тоже знает время.  
Он наплывает —  
В сутемь, темень  
И сходит медленно на нет.

Один ушел он — Белый цвет,  
Весна идет — с цветами всеми.

Перевод Льва ОЗЕРОВА

## Пусть не скажу я ни слова

О, небо, небо ясное,  
Днем солнцу — просторы твои,  
Ночью — луне прекрасной,  
Что шлет голубые нам сны.

Одним ты жизни основа,  
Другие тебя клянут...  
Пусть не скажу я ни слова,  
Сердце кричит: «Люблю!»

Вершина, слышишь, вершина,  
Ветров причитанья уйми.  
И нежно меня, как сына,  
К могучей груди прижми,

Хоть ты высока и сурова,  
Коварства не потерплю...  
Пусть не скажу я ни слова,  
Сердце кричит: «Люблю!»

Стати твоей подобной,  
В мире не сыщешь, лоза,  
Вечно б твоей благодатью  
Тешились плоть и глаза!

Яркой искристою кровью  
Напоминаешь зарю...  
Пусть ничего я не молвлю,  
Сердце кричит: «Люблю!»

Дева, милая дева,  
Пронзила ты душу мою,  
Каркают: «Гиблое дело!»,  
«Блаженство!» — я говорю.

Даже сам мрамор паросский  
Грудь не затмит твою...  
Пусть стиснуты губы в полоску,  
Сердце кричит: «Люблю!»

Да светит солнце днями,  
Светит луна по ночам...  
Беды да будут с врагами,  
Верность и правда — друзьям.

Взвивайтесь к небу стягами  
На весеннем ветру.  
Пусть рот забивают кляпами,  
Сердце кричит: «Люблю!»

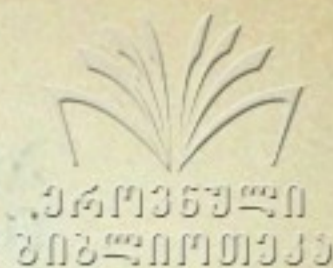
Радость моя, Сакартвело,  
Борьбы и свершений стезя,  
По карте — чуть видимое тело,  
В жизни — вселенная вся.

Всех ты начал начало,  
Славлю тебя и пою...  
Пусть даже бы все промолчало,  
Сердце кричит: «Люблю!»

Перевод Даниила ДЖАНАШВИЛИ



Георгий ХОРГУАШВИЛИ



## Рассказы

# Вечная кара

Потрясенным его неожиданной смертью, им ничего другого не оставалось, как с приличествующей случаю уважительностью предать земле безвременно ушедшего человека. Ожидалось, что оплакивать его придут многие, так что скорбным распорядителям похорон хватало забот.

Поспешно вынесли все из просторных комнат, где усопший обещался закатить пир горой в честь новоселья, собрать уйму поздравителей и даже приступил к тщательным приготовлениям к нему.

Новенькую мебель, на которую хозяин не успел наглядеться, вынесли на широкий балкон и заставили ею, спинками вперед, дальний угол. В центре огромной гостиной, где, как говорится, и лошади было бы не тесно, под громадной люстрой поставили гроб с телом, вдоль стен, украшенных коврами всех мастей, выстроили в ряд стулья с высокими спинками для тех, кто придет соболезновать горю. Но стулья пока пустовали. Сидели только вокруг гроба, и то лишь малым числом, — женщины с распущенными волосами, плакальщицы и соболезнующие в одном лице. Как им не хватало профессиональных плакальщиц! Жалок тот мертвый, которого не оплакивают в голос. Эта горькая мысль не оставляла женщин, и они, не щадя себя, громко причитали, только бы не стихали в доме рыдания.

— Берегите силы, в день похорон вам еще понадобятся слезы! — робко предупреждали старые женщины.

Но молча скорбеть им было неловко. И вновь раздавался щемящий душу крик, вновь следовало надрывное причитание, которое обрывалось вдруг — выбившись из сил, они опускали головы и замолкали как бы в пику покойнику: теперь, мол, твоя очередь.

Но говорливый при жизни Мелитон молчал, как человек, на которого можно положиться. Его увядшие руки безвольно лежали на вспухшем животе. На левой руке между большим и указательным пальцем синела татуировка: «М+Е», тыльную сторону ладони украшало сердце, пронзенное стрелой, над которым корявыми буквами было выведено нечто совершенно противоположное этому символу: «Не доверяйся женщине». Правую руку уродовало услышанное в отрочестве назидание: «Деньги — дело, друг — тщета». Как видно, руки покойного были щедро разукрашены татуировками, и, чтобы скрыть их от посторонних глаз, рукава полосатой рубахи спустили до самых запястий. Застыли выпуклые глаза, заострился приплюснутый нос, маленький рот оставался чуть приоткрытым, а бледные морщины, примерзшие к кончикам усов, придавали прихорошенному заботливыми женскими руками лицу такое выражение, будто он и сейчас с загадочной улыбкой наблюдает за окружающими.

Во дворе плакали навзрыд несколько мужчин, тоже из ближайших родственников.

Соболезнующие появлялись с большими интервалами. Понуриив голову, будто были кругом виноваты, с заблаговременно принятым мрачным видом они направлялись к дому, где поселилась смерть. Поднявшись на балкон, подходили сперва к отцу усопшего, который стоял, опираясь на палку, и жалко охал. Сняв шапку, почтительно пожимали ему руку и почти шепотом говорили:

— Нам очень жаль, дядя Абрам!

— Жаль, конечно же, жаль, — буркал тот в ответ, дрогая усами, и его покрасневшие глаза наполнялись горькими слезами.

— Кого мы потеряли! — Качая головой, соболезнующие тяжелым шагом входили в комнату, где стоял гроб.



Близкие родственницы покойного, уже издали заметив их, начинали раскачиваться, как колодезь в поле на ветру, а затем, приникнув к гробу, разражались горькими причитаниями.

— Какое несчастье обрушилось на нас, люди! — била себя по голове и дряблему лицу мать покойного. У нее не было сил плакать, да и шамкающий голос звучал как-то буднично, но она держала марку и, горестно причитая над неожиданным ударом судьбы, проклинала несправедную смерть клокочущими ненавистью словами.

Жена, полная, пыщущая здоровьем привлекательная женщина, стеснялась плакать в голос, молча предавалась горю. Растрепав свои короткие волосы и исцарапав пухлые щеки, она обливалась горячими слезами и, поминутно проводя платком по лысому черепу мужа, выговаривала ему, чтобы слышали вновь пришедшие:

— стыдно тебе должно быть, Мелитон, стыдно, что ты так рано оставил меня.

Но Мелитону, как всегда, чужды были муки стыда и совести.

— Надежда ты наша единственная! — со стоном вырывалось у его единственной сестры.

— Гордость ты наша! — вторила ей сестра двоюродная.

— Эх, какого человека не стало! — качал головой сосед по лестничной клетке.

Вай, почему мы потеряли драгоценный рубин,  
Кровью плачу я, ты ведь такой был один!

Горестно затянул кривой Артуша, держа под мышкой доли и отбивая короткими пальцами мелкую дробь. А Татеоз и плешивый Дианоз, надувая щеки, заставляли зурну с плачем повторять слова меделе.

— Как он любил, бедняга, доли и зурну!

— Да-а, умел гулять!

— И правильно делал, конец у всех один!

Еще раз оглянувшись на распухшего покойника, смахнув еще одну скупую слезу, соболезнующие, покачивая головой, удалялись прочь от этого скорбного зрелища.

И вновь нависало тоской гнетущее молчание.



Изнемогших от причитаний родственниц душила обида — так немного людей пришли разделить с ними горе. Украдкой бросая на дверь затуманенные слезами взгляды, они убеждались, что никто, кроме тех, кто выражал соболезнование утром, больше не пожаловал, и горе их удваивалось.

Это не могло укрыться от музыкантов и, чтобы хоть как-то облегчить страдания родственников, они часто подменяли друг друга. Слепой на один глаз Артуша добросовестно выполнял свои обязанности. Приложив к круглой румяной щеке руку с растопыренными пальцами, как если бы у него болел зуб, и локтем придерживая черную боковину доли, он замирал на мгновение, после чего разражался жалобной песней:

Бесконечна жизни круговерть,  
мир вертится, судьба играет,  
за жизнью постоянно ходит смерть.  
и люди знают это, знают!

— Горе мне, несчастной матери!

— Бедная я, бедная! — рыдала жена.

— Пусть умрет твоя единственная сестра, братец!  
Вместе с горем они исторгали из сердца обиду.

\* \* \*

Через два дня тело покойного перевезли из Тбилиси в деревню.

В таких случаях обычно село всем миром приходит на помощь близким родственникам усопшего, искренне делит с ними их горе.

— Везут! Везут! — сообщают друг другу сельчане, и все от мала до велика с ахами и охами выбегают далеко навстречу скорбной процессии, горькими слезами орошая последний отрезок пути, выпавший на долю несчастного. Разве они позволяют ему трястись в машине?! Полные сочувствия к удрученным горем родственникам, они по очереди подставляют плечо под гроб, вместе с ними идут до самого кладбища.

На сей же раз никто не откликнулся на соседское горе, никто не смахнул одинокую слезу, не приблизился к дому на ружейный выстрел, будто, отважась кто на это, покойник забрал бы его с собой. Укрывшись за разрушенной стеной, любопытствующие со спокойным

пренебрежением наблюдали за окнами. Как от чело-  
векоубийцы, бежали от усопшего, которого оплакивал с  
десяток родственников.

Не было даже поползновения помочь им.

А те с трудом нашли даже могильщиков.

Знаменитые на все село Какола Киркиашвили и Шавела Ткемалашвили уперлись, как бараны, ни в какую не соглашались вырыть могилу, приводили тысячи доводов и причин. Их соблазняли большими деньгами — они отвечали холодными взглядами, им угрожали — они и бровью не поводили, их снова умасливали, с трудом, наконец, разжалобили, вырвали согласие, и они, ворча и осыпая скорбящих попреками, принялись за дело. Земля попалась неподатливая — место оказалось скалистым, и Какола с Шавелой весь день ругались и отплевывались. Зато потом повеселились за угощением, как будто это было подношение со свадебного стола.

Сложнее оказалось уговорить поваров. Даже убежденные сединами, искусные в этом деле мастера отвернулись от скорбящих. Усатый Шалико сослался на боли в пояснице, коротышка Сандриа подвесил правую руку на перевязь, и остальных не смогли уломать даже для видимости. Наняли городских поваров, да и тех с трудом умолили.

А в остальном на подхвате были мальчишки — носили посуду, кололи дрова, расставляли столы и стулья. Когда же им надоедало и они сбегали, хозяйничали гости.

Все село упорствовало в своем безучастии.

\* \* \*

И вот пришло время похорон.

Подняли гроб.

Под вопли и пронзительные крики женщин спустили по мраморной лестнице во двор и, не в силах расстаться с усопшим, в полном молчании опустили его прямо на землю в той самой аллее, где он так любил пировать со своими собутыльниками.

Сейчас вокруг него сидели опухшие от слез близкие родственники.

— Посмотри на свою усадьбу, наглядись на нее перед уходом! — шамкала беззубая мать.

— Кому ты оставляешь эти хоромы, кому должны достаться эти сады и виноградники?! — в отчаянии рыдала сестра.

А поодаль шушукалось дальнейшее родство.

— Хотя бы сына оставил после себя, несчастный.

— Не дал Бог своего, так взяли бы чужого...

— Да, да, действительно.

— Не думал, бедняга, что помрет так рано.

— Интересно, кому достанется это добро — целое ведь состояние и здесь, и в городе...

Прощай, мой дом,  
прощай, мой сад!

Медоле Артуша снова приложил ладонь к щеке. И снова надули щеки Татеоз и Дианоз — плачем отозвались зурны.

И снова зарыдали не щадящие себя родственницы, просрочили время выноса, задержались нарочно.

— Довольно, пожалейте себя, всему есть предел, — стали уговаривать их распорядившиеся похоронами Элизбар и Дата, единственные, кроме Тиги и Хохоны, из соседей, откликнувшиеся на их горе.

С трудом оттащили женщин от гроба, с трудом подняли его.

— Тебя обманывают, Мелитон!

— Пожалей мать, сынок!

— Сжался, Мелитон! — рыдала жена, царапая себе щеки.

Но никто не прислушался к их мольбам, и процессия двинулась в сторону кладбища.

Да, очень немногие провожали усопшего в последний путь. Едва нашли двух человек, которые понесли крышку гроба, ну а венки и цветы пришлось взять гостям. Да если бы не «посторонние», вряд ли ближайšie соседи покойного Тига и Хохона смогли бы донести его до кладбища.

«Ну и тяжел, черт», — бормотал себе под нос Тига.

«Не я же прикончил эту собаку, почему мне одному тащить его до самого кладбища», — Хохона тщетно искал тоскующими глазами односельчан, но некому было прийти на помощь.

По обычаю на околице процессия ненадолго останавливалась. Живущие поблизости крестьяне заранее

выносили стулья, на которые устанавливали гроб с телом. Передохнув несколько минут, процессия продолжала путь.

И на этот раз решили не отступать от правила. Что-то шепнули тем, кто нес гроб, и они остановились. За ними — и небольшая кучка провожавших.

— Стулья! — негромко приказали распорядители похорон.

Но никто не позаботился о стульях заранее.

— Ну-ка, сбегай-ка к Тлашашвили! — велел Элизбар мальчишке, крутившемуся под ногами.

— Тлашашвили нет дома! — был скорый ответ.

— Бегом к Томашвили! Возьмешь у них!

Но и томашвилевский дом оказался на запоре, как сообщил запыхавшийся мальчишка.

Его заставили обегать всех, кто жил поблизости, но никого не случилось дома.

Тига, Хохона и двое гостей, сгибаясь под тяжестью гроба, с нетерпением ждали, когда, наконец, им прикажут следовать дальше.

А родственники покойного стояли вокруг и горестно оплакивали «несчастливого Мелитона».

— Пошли! — раздалась тихая команда, и они, не мешкая, двинулись вперед.

И только, когда процессия скрылась из глаз, открылись калитки ворот Тлашашвили, Томашвили и других.

\* \* \*

Гроб опустили на землю у самой могилы.

Пришло время прощания, и вновь засуетились, запричитали женщины. Теперь они стояли вокруг покойника на коленях, не в силах оторваться от него, не мысля, что никогда больше не увидят обожаемое лицо. Они бесцеремонно валились ничком на «обиженного» Мелитона, горячими слезами орошая его остывшее тело, валились по очереди, с трудом отрывая друг друга от гроба.

«День, стань длиннее, длиннее, сын уходит от матери!» — вновь защемил душу жалобный голос Артуши.

— Хватит, люди, довольно, пора! — рискнул подать голос Элизбар.

Но никто не внял его словам.

— Ровно как дети! Нам всем его жаль, да что поделаешь! Конечно, лучше бы ему не умирать, но теперь ведь горю не поможешь!

Однако родственники упорствовали в своей скорби.

Тогда те, кто держал себя в руках, подошли к убивающимся над покойником и с трудом оттащили их от гроба.

— Одну минуту! Прошу тишины! — громко, как если бы перед ним стояла толпа и последние ряды могли не услышать его, произнес Дата.

Крики и плач стихли, родные поняли, почему просят тишины, и у могилы воцарилась могильная тишина.

К гробу подошел пожилой мужчина, лысый и худой. Он вынул из-за пазухи исписанный лист бумаги, поправил очки и принялся читать хриплым голосом. Он пел хвалу покойнику. Возносил до небес того, кого собирались опустить в землю.

— Спи спокойно, дорогой друг, пусть земля тебе будет пухом! — У оратора повлажнели глаза. Он вынул платок и отошел в сторону.

— Есть желающие выступить? — для проформы спросил Элизбар.

Желающих не оказалось.

— Телеграммы! — прозвучала команда.

Была одна-единственная телеграмма, и та от директора покойного. Ее зачитали, и безутешные родственники в порыве скорби вновь рванулись было к гробу, но их уже не подпустили к нему.

Элизбар и Дата накрыли гроб крышкой, наспех прибили ее. Взяли все дальнейшие хлопоты на себя.

\* \* \*

Просунув под гроб длинную веревку, Элизбар стал в изголовье, Дата — в ногах.

Осторожно стали спускать покачивающийся гроб.

Неловкое движение, и гроб перевернулся. Нервничают Дата и Элизбар, крупные капли пота выступили на их лицах, дрожат сердца и руки. А тяжелый гроб раскачивается все сильнее. Впрочем никто этого не замечает. Все стоят, понурив головы и уставившись в землю. Каждый думает о своем, замороженный близостью смерти.

Гроб был спущен наполовину, когда Элизбар и Дата, обменявшись быстрыми взглядами, вдруг замешкались. Элизбар незаметно качнул гроб, тот тяжело ударился о стенку могилы и... веревка лопнула. Вместо того, чтобы опустить другой ее конец, Дата сильно дернул его вверх. Гроб снова качнулся, снова ударился теперь уже о противоположную стенку, наспех прибитая крышка отлетела — труп вывалился и шмякнулся на большой камень на дне могилы, высоко раскинув в стороны одеревенелые ноги.

«Ухнулся, окаянный? Поделом вору мука! Разве достоин ты этой земли или этих слез? В глухом бы лесу бросить тебя на съедение воронам! Счастливчик, ничего не скажешь... Родственнички нет-нет да придут на могилу, поплачут над ней, плеснут вино на землю, а мой отец... Я даже не знаю, где он похоронен, и есть ли у него вообще могила... Это твой злющий язык погубил его. Был бы виновен, несчастный.. Оправдать-то потом оправдали, да что толку — мертвого не воскресишь! И сколько невинных душ на твоей совести...» — думал Элизбар, уставившись на дно могилы.

«О, прошу прощенья, ваше превосходительство! Вы там не ушиблись, часом? Правда, это пустяки в сравнении с теми страданиями, что вы причиняли другим... Сущая ерунда! С вами будет порядок, сейчас вас водворят обратно в гроб и засыпят землей, но вот моему брату уже ничем не поможешь... А прыгать вы горазды, батано Мелитон!» — Дата криво ухмыльнулся и отвел заблестевшие глаза.

И тут словно все очнулись: поднялся переполох, раздались крики, причитания... Артуша затянул свою жалостливую песню.

— Хоронить не умеете, что ли, будьте вы прокляты!

— В целой деревне не могли веревку потолще найти?

— Какой ужас! — рыдали женщины.

— Прямо напасть какая-то, — сокрушались Дата с Элизбаром.

Но не время было виниться. Они ловко спрыгнули в яму, быстро выбросили на поверхность пустой гроб с крышкой, потом пыхтя подняли труп и передали стоявшим наверху.

И снова, бия себя по щекам, запричитали женщины.

— Какие мы несчастные, люди! — горестно вопила жена.

— Почему не жалеете нас, христиане? — шамкала беззубая мать.

— Какой ужас, какое несчастье! — злоба душила сестру.

Но никто не слушал их сетования. Все хлопотали над покойником. Снова уложили его в гроб. Бытерли вымазанное в земле, ободранное лицо. Снова сложили на груди почерневшие руки. На сей раз накрепко заколотили гроб и осторожно опустили его в могилу.

Потом бросили вниз по горсти земли, бормоча про себя: «Унеси мое горе». И застучали лопатами. Подменяя друг друга, мужчины быстро заполнили землей глубокую яму.

— Не уходите, пока не помянете покойника! — громко, чтобы слышно было всем, произнес Элизбар.

Тех, кто пытался уйти, останавливали, упрашивали, вzywали к их совести, но они были глухи к мольбам, и вскоре на кладбище, кроме ближайших родственников, никого не осталось.

И те, покончив с формальностями, поспешили домой.

В огромном дворе столы были накрыты на восемьсот человек. Казалось, они сгибались под тяжестью яств. Покойник был известный человек, работал в самых различных местах, думали, почтить его память приедут многие, да и все село наверняка будет. Но за столом оказалось человек двадцать ближайших родственников. Они заняли краешек стола. Бормоча себе под нос, поминали покойника, его предков, умерших здесь же, похороненных всем честным народом.

Тамада был немногословен и апатичен. Сотрапезники молча кивали ему, с неохотой отпивая из бокалов специально припасенное для торжественных случаев вино. Они не могли дождаться, когда, наконец, кончатся обязательные тосты, чтобы встать из-за стола и разъехаться по домам.

По другую сторону стола собрались собаки со всей округи. Вывалив языки и часто дыша, они бесцеремонно уселись у всех на виду, не сводя глаз с дымящихся блюд. Дразнящие запахи вызывали глухое бурчание в

их тощих животах, они поминутно вскакивали, поддаваясь искушению, но вооруженные кизиловыми прутьями мальчишки водворяли их на место, не позволяя приблизиться к столу. Ответом был недовольный <sup>и</sup>скулеж, в котором слышался неутолимый голод.

Все застольные обычаи были соблюдены. Гостей обошли с блюдом плова. Они вторично выпили за упокой души, поднялись из-за стола, стали прощаться с семьей покойного. Говорили им слова утешения, понимая всю их нелепость, потому что у самих сердце разрывалось на части.

Близкие Мелитона и в дальнейшем не обделяли его своей заботой и почитанием. Исполнили все без исключения обряды, какие только придуманы предками в честь покойников. Обнесли могилу неприступной железной оградой, можно было подумать, посадили в вечную темницу отправившегося на тот свет. На могилу положили глыбу мрамора, будто маленький и легкий камень легко можно было сдвинуть с места и подняться.

С отшлифованной передней стенки мрамора похожий на призрак смотрел Мелитон. На губах у него застыла циничная усмешка. Под ним золотыми буквами были вытиснены фамилия, имя, даты рождения и смерти, а под конец — полные горечи слова: «Ушел от нас, не утолив жажды жизни». Какой-то озорник перечеркнул последнее слово и вывел вместо него: «ненависти».

Могилу украсили цветами. Особенно тщательно отбирали сорта роз, которые должны были составить ее гордость. Сажали не раз и не два. Завезли новую землю, обильно поливали ее, но растения не приживались. На соседних могилах зелень травы и яркость цветов радовали глаз. А над Мелитоном покачивались чахлые розы и облезлые ветки кипарисов.

Что было тому причиной, никто в селе объяснить не мог. На этот вопрос, как правило, отвечали: «Почем я знаю». И только некоторые добавляли: тело злого человека что желчь для земли. А что может уродиться на земле, пропитанной желчью?

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ



# Смерть Дездемоны



УДК 82(02) 37(02) 37(02) 37(02)

— Не было ему равных в деле, все ему было под силу, только сердце у него было заячье, сердце! Пред начальством травой стелился, а на других смотрел свысока, словно солнечный мир только ему был обязан своим сиянием. Никто никогда не видел его веселым или же дружески беседующим, что касается там искусства или спорта, он и вовсе не кумекал, с чем это едят... Не знаю, то ли брезговал нами, простыми смертными, то ли ему были чужды обычные человеческие страсти... Что говорить о других, когда он не находил времени для собственной семьи?! Поднялся на ступеньку выше, Бог в помощь, но человек прежде всего должен оставаться человеком... — нашептывал Лысый Ваню новому начальнику, сменившему прежнего, «с заячьим сердцем», и последний с упоением слушал своего велеречивого подопечного.

— Надеюсь, поймешь меня правильно, грош цена руководителю, который не пытается заглянуть в душу подчиненного, кому чужды простые человеческие страсти, кто, умея работать, не умеет веселиться, кто не дрогнет, завидев шахматную доску, или же у кого не загорятся глаза при мысли об охоте, — провозглашал Реваз Арчилович, поглаживая своего любимца Махару. — Ложись, Махара, ложись, дружок, — с нежностью обращался он к собаке.

Послушный пес охотно исполнял просьбу хозяина и, довольно поскуливая, располагался у его ног.

\* \* \*

Более популярного пса я не встречал. Потомок пойнтера, он еще щенком отличался от своих собратьев. Директор ресторана «Салхино» Лысый Ваню приобрел его у прославленного во всем Саатэно охотника Джимшера и подарил нынешнему хозяину, который сам воспитал щенка и сделал из него превосходного охотника меньше чем за полгода. И не мог нарадоваться на своего питомца:

— Ну и нюх — за километр птицу чувствует! Навострил уши — так муравей не проскользнет мимо. А

стойка! Глаз не оторвать, когда он замирает, прислушиваясь к шороху, и потом стремительно бросается вслед за вспорхнувшей птицей. А какой выносливый! В самый зной, когда земля буквально плавится, он несет так, точно его ветер обдувает. И никогда не вывалит язык от усталости, как другие псы... Знаешь, даже русская гончая с ним не сравнится. Как-то весной пустил его по заячьему следу. Так он гонял зайца до тех пор, пока не схватил за горло. А смекалист и разумен, чертенок!.. Смотрите! — Он восторженно оглядывает собеседников. — Ну-ка, Махара, дай лапу!

Махара охотно поднимает короткую лапу и панибратски хлопает хозяина по руке.

— А теперь обними меня, Махара!

Пес поднимается на задние лапы, передними обнимает, вернее, опоясывает спину хозяина и лижет ему ладонь.

— Реваз Арчилович, да ему в подметки не годится ни одна цирковая собака! — льстиво замечает один.

— Ну чем не человек, а?

— Если бы Сандро умел так вести себя, он и сегодня сидел бы в кресле директора совхоза, — пошутил Лысый Ваню.

— Ну и красавец!

— Гибкий и ловкий, как пантера!

— А какая шея! Чем не фазанья?

— Как тебе нравится морда?

— А ты вспомни Джека. У того нижняя челюсть что у бегемота, а клыки торчат, как у старого кабана. Да-а, Кола-Зубоскалу нечего хвастать своим Джеком.

— И мастью Махару Бог не обидел. Красноватые, как у форели, крапинки на золотистой шерстке... Красота!

— Лоб высокий, как у мудреца!

Присутствующие соревновались в красноречии, стараясь перещеголять друг друга.

Махара, словно и в самом деле понимая, что речь идет о нем, переводит взгляд с одного говорящего на другого.

Хозяину ласкает ухо лесть подчиненных, он великодушно позволяет воздавать хвалу своему любимцу, не отнимая руки от его бархатистой шерстки.

Махара шаловливо тьякнул.

— Неужто собирается петь? — пошутил кто-то.

— А что, голос весьма приятный... — добавил дру-  
гой.

— Вот бы нашему Гигле Герасимовичу такой голос, — сказал Реваз Арчилович и не успел улыбнуться своей шутке, как все, опередив его, прыснули со смеху. И хохотали до тех пор, пока не погасла улыбка на лице автора шутки.

От души смеялся и сам Гигла, управляющий банком, вовсе не обидевшись на шутку Реваза.

— А ну-ка, Махара, покажем, как мы умеем прыгать, — похлопал Реваз своего питомца по спинке.

Махара, отойдя в сторону, пружиной взвился вверх и прыгнул ловко и изящно, точно породистый скакун. Аплодисментами, которые последовали вслед за прыжком Махары, награждают разве что самых почитаемых чемпионов.

Махара степенно подошел к хозяину.

— Молодчина! — погладил его по мордочке Реваз и неожиданно нахмурился — он нащупал на мордочке твердый бугорок.

— Что это может быть? — проговорил он, щупая пальцами затвердение. — Может, кто-то укусил?

Но Махара никак не реагировал, стало быгь, ему не больно, и Реваз несколько успокоился и охотно поведал о том, с какой легкостью Махара одолел вчера прославленную борзую. Его слушали так, словно Реваз повествовал о подвигах мифического героя.

Такие приятные минуты памяты и Махаре, и хозяину, и его гостям.

\* \* \*

Махара выгодно отличается от своих сородичей. Это степенный, полный собственного достоинства пес, он никогда не позарится на объедки, как некоторые, не притронется к пище, если она не придется ему по вкусу, с голоду помирать будет, но не стащит еду, как те безродные собаки, что бродяжничают в селах, шатаясь от дома к дому, бессовестно вылизывают мацони из банок, улучив момент, хватают с тарелки ветчину или же изводят цыллят у хозяина. Нет, Махара не падет так низко. А как он ест! Ни крошки не оставит на полу, ни капельки воды не прольет на шерстку. Во мно-

гом это — заслуга Реваза, именно он воспитал Махару таким. И потому, вероятно, так привязан к нему, лаской обделит скорее своих детей, нежели его — бессловесная тварь, мол, больше нуждается в тепле и заботе.

На исходе дня Реваз Арчилович непременно навещал своего питомца. И даже тогда, когда задерживался на работе, или же затягивалось далеко за полночь застолье, возвращаясь, он непременно заходил к Махаре, чтоб убедиться, что любимец его здоров и весел. Все свое свободное время отдавал он красавцу Махаре — и на охоте они рядом друг с другом, и на прогулке, и даже когда Реваз мчится на ослепительной «Волге» на дачу, рядом с ним сидит радостный Махара.

Поднаторевшие в подхалимстве сослуживцы знают, что путь к сердцу Реваза Арчиловича лежит через Махару, и потому, придя по делу или просто так — повидаться, непременно интересуются самочувствием его любимца.

— Как там наш Махара?

Если собака не в духе, Реваз печально качает головой:

— Как сказать...

— Что с ним? — На лице собеседника искренняя заинтересованность.

Но обычно Реваз Арчилович отвечает:

— Махара? Он весел и беззаботен.

— И слава Богу! — радуются собеседники.

— Позавчера Махара так меня порадовал, что... — Реваз намеренно прерывает фразу и пытливо оглядывает слушающих. Те широко улыбаются. — Разве что в сказке такое прочтешь!.. — Все замирают в ожидании рассказа. — Представляете, он спас утопающего!

— Утопающего?

— Ну да, нашего общего знакомого!

Широкая, довольная улыбка разливается по лицу Лысого Ваню. Все догадываются, что речь идет о нем.

— Неужто? Как это случилось, Реваз Арчилович?

— Спросите Ваню, — кивает Реваз на своего приближенного.

И Лысый Ваню охотно вспоминает: уставшие, измотанные после долгой охоты, они подошли к реке, бросили добычу на берегу; Ваню разулся, подозвал Махару,

чтобы искупать его; и тут волна сбила его с ног и увлекла за собой; он даже не успел позвать на помощь, как Махара бросился к нему, схватил за рубаху и вытащил на берег.

Слушающие, разинув рот, переводят взгляд с Реваза на счастливика Ваню. Реваз Арчилович великодушно позволяет Ваню вспоминать все новые и новые подробности его чудесного спасения, ведь это лишний повод похвастать своим любимцем.

— Ну и ну! — удивляются слушатели.

— Какая умница!

— Нет, это не пес, это — мудрец!

— Талант!

— Да, Махара никогда не растеряется. Пока мы соображали, как быть, он бросился за Ваню и вытащил его, словно это был не человек, пустое бревно.

— Какой смельчак!

— Шутка ли, вытащить человека!

— Отличный у вас пес, Реваз Арчилович!

Все восхищаются Махарой, доволен Реваз Арчилович, а Лысый Ваню ухмыляется про себя — ловко он обвел всех вокруг пальца, разыграв роль тонущего, чтобы лишний раз польстить высокому начальству.

Да, помимо хозяина, бесчисленное множество людей были бы счастливы обласкать Махару, чтоб показать свою преданность его хозяину, но пальма первенства принадлежала все-таки Лысому Ваню. Только ему было дозволено в любое время дня и ночи войти в комфортабельную комнату Махары; только ему выпадало счастье выводить питомца Реваза Арчиловича на прогулку; только он знал привычки Махары, по малейшему движению понимал, что ему нужно; только он имел влияние на Махару, мог развеселить, когда тот был не в духе, успокоить, если он расшумелся, заставить поесть, когда тот отказывался от еды. Больше всего нравится Махаре мясо бычка, вот Ваню и старается, чтоб Махара не знал в нем отказа, а раз в неделю лакомился он жареным цыпленком. В последнее время пристрастился к осетру в приправе из зелени, так Ваню не заставляет себя долго упрашивать — Махара в любую минуту может отведать любимое блюдо.

Ванна всегда в распоряжении Махары, но самое большое удовольствие для него поплавать в реке. Еже-

дневно они с Ваню ходят на Цхаватуру. Порезвившись вволю, Махара позволяет Ваню купать его, обхватив бережно, как младенца. Потому-то так сверкает его короткая бархатистая шерстка.

Ваню держит глаз востро. Известное дело, у счастливого человека всегда найдутся недоброжелатели и завистники. Так и у хорошей собаки. Что тут удивительного?! Все те, кого не жалует Реваз Арчилович, считают, что в этом виноват Махара: они не проявили должного рвения, чтоб продемонстрировать свое равнодушие к этому баловню судьбы, вот Реваз и мстит им. Скажите, можно доверять таким людям? Ведь они способны черт знает на что! Да и от мальчишек можно ожидать всего. На днях осталась незапертой дверь в комнату Махары, так этот придурок Титико, соседский мальчишка, прокравшись в комнату, норовил скормить Махаре хлеб с иглой. Хорошо еще Ваню подоспел вовремя! Ну и досталось тогда проказнику Титико! И родителям его пришлось несладко, и даже педагогам.

Остряки шутят: Лысый Ваню кормит Махару, а Махара — Лысого Ваню. И пока здравствует этот почитаемый всеми пес — ни одна собака не посмеет бросить на Ваню косою взгляд.

Не будем обращать внимания на пересуды, однако заметим, что в последнее время Реваз и в самом деле приблизил к себе Лысого Ваню, двери его дома, а также кабинета всегда открыты для него. Злопыхатели шепчутся, что Лысый Ваню протоптал тропинку к дому Реваза — такой частый гость он там. Реваза считают искусным игроком в бильярд — посланные им шары никогда не минуют лузы. Любит он сразиться с равным ему по мастерству игроком. Ваню и здесь незаменим. Когда он склоняется над столом и косою взгляд его застынет на шаре, у противника руки покрываются холодным потом — значит удар Ваню придется по цели. Даже Реваз в душе побаивается его. Но Ваню не из тех, кто не понимает, у кого следует выиграть, а кому — и проиграть. Поначалу он играет с азартом, и когда Реваз загорается, он очень ловко, так, чтоб никто ничего не заподозрил, сбавляет темп. Реваз, не поняв его уловки, радостно восклицает:

— Моя взяла, моя!

Вано остается верен своим принципам и на охоте. Наметит добычу, выйдет ловко на нее с Ревазом и вовремя стушнется. Реваз, не заметив его хитрости, доволен:

— Ну что, и здесь тебе не улыбнулась удача, а? Не везет тебе, брат!

— Не везет, Реваз Арчилович, не везет. Ничего не поделаешь! Вон у вас на поясе, наверное, больше двадцати перепелов, а у меня ни один не пискнул.

— Да, куда тебе до меня! — как бы шутит Реваз. Лысому Вано остается признать поражение.

Как-то спугнули они зайца. Реваз прицелился и выстрелил. Одновременно грянул второй выстрел — Лысого Вано, который и сразил зайца наповал, но Вано не преминул приписать удачу Ревазу.

— Ну и меткий глаз у вас, Реваз Арчилович! Надо же, уложить одним выстрелом! Как же напрасно я целился! Хорошо, что промахнулся, иначе и мясо пропало бы, и шкура... — убежденно доказывал он.

— Да, выходит, тебе еще надо научиться держать ружье, — вновь шутит Реваз и быстрым шагом направляется к распластанному на земле зайцу.

Лысый Вано в сопровождении двух охотничьих собак спешит за «снайпером». Отдавая должное своему Шубле, как любит он повторять, собаке Божьей милостью, Вано не может не признавать приоритета Махары, и потому ничем не рискует, когда позволяет им померяться силами — ему ничего не грозит, он знает, что новая победа Махары — еще один шаг к завоеванию сердца Реваза Арчиловича.

\* \* \*

Ранним утром Реваз Арчилович спустился вниз, чтоб по обычаю приласкать своего питомца. День обещал быть погожим, и потому настроение у Реваза было приподнятое. Дудоня незатейливую мелодию, он открыл дверь в комнату Махары и... замер от неожиданности — Махара не бросился ему навстречу. Он глазам своим не поверил.

— Махара! Махара! — позвал он и недоуменно огляделся.

Ни звука. Он вышел во двор.

— Махара! Махара! — вновь позвал он тревожно.

В ответ — тишина.

Выбежали соседи.

— Махару не видели, ребята? — Реваз надеялся, что всезнающие и всевидящие мальчишки наверняка скажут, где Махара, но они лишь покачали головой.

— И вы его не видели? — обратился Реваз уже ко взрослым.

— Нет...

— Куда он мог подеваться?

— Может, зверь какой загрыз? — высказался кто-то.

— Скажешь тоже. Откуда здесь зверю взяться? — возмутился другой.

— Тут крутится собака Коста, может, она соблазнила Махару?

— Нет, вряд ли, Махара не из простых псов, на такую не позарится.

— Может, пошутил кто?

— Возможно...

Помрачнел Реваз.

\* \* \*

Полночь. Скрип двери разбудил спящего Махару. Он вскочил на передние лапы и сердито зарычал на непрошеного гостя, но узнав его, мягко тьякнул.

— Махара... — Вошедший хотел было по привычке ласково пожурить его, но не смог скрыть волнения. Соскучившись за неделю, Махара радостно завилял хвостом. «Пойдем, Махара», — с трепетом в голосе прошептал гость и дрожащей рукой погладил пса по голове, потом провел рукой по морде, но не ради того, чтобы погладить, а лишь с целью вовремя заткнуть ему пасть, если он ненароком залает.

Мужчина вышел из дома. Облегченно вздохнув, быстро пошел прочь. Махара, не задумываясь, последовал за ним.

Они шли, не повстречав ни одной живой души. Полная луна освещала все окрест ровным светом, и мужчина с собакой отчетливо выделялись в безлюдном пространстве.

Они вышли к знакомому берегу реки. Мужчина остановился, привлек к себе Махару, провел рукой по загривку, погладил мягкую шерстку. «Махара, дорогой



мой Махара», — шептал он дрожащим голосом. Пес поднялся на задние лапы, передними обвил спину мужчины и, глядя на него широкими глазами, радостно завилял хвостом. И тут мужчина обеими руками сжал ему челюсти, пристально посмотрел на него. На глаза навернулись слезы. Он наклонился, щекой потерся о морду, потом выпрямился, не отрывая рук от шеи, большими пальцами, дрожа, нащупал глотку. На мгновение замерло сердце, но в ту же секунду злость обуяла его. «Ух, мать твою...» — прохрипел он и со всей силой впился в глотку большими пальцами.

Махара не понял, что происходит, лишь попытался увернуться от столь непривычной для него ласки, еще сильнее вытянулся, чтоб легче было оттолкнуться, но тщетно: руки мужчины клещами впились в него. Долго боролись они, наконец Махаре удалось повалить его. Однако, оказавшись под Махарой, мужчина все-таки удержал в правой руке ошейник и другой из последних усилий затянул его потуже. Махара почувствовал, как у него перехватило горло, в глазах застыл ужас. Мужчина на миг пришел в себя, вспыхнувшее в нем чувство жалости чуть было не лишило его последних сил. Глаза его увлажнились, и он готов был выпустить из рук ошейник и с покаянием обнять любимое существо, но в тот же миг пред его взором встал «тот», человек, которого он ненавидел всеми фибрами души своей. И кануло, провалилось бесследно чувство жалости. Он изо всех сил натянул ошейник и из горла обреченного животного вырвался предсмертный хрип. И пока Махара не затих, мужчина не отпустил рук. Наконец, он оторвался от своей жертвы, отбросил его в сторону и, тяжело дыша, уставился на бездыханное тело. И тут ему померещилось, что Махара зашевелился. «Собака и есть собака», — вновь вспыхнула в нем злоба, и он с новой силой вцепился псу в глотку. Устал, выдохся мужчина и, не удержавшись, рухнул на бездыханное тело. Придя в себя, отер пот, встал, и в тот же миг, когда взгляд его остановился на несчастной жертве, грешная душа его вспылала отвращением ко всем и всему, — и к самому себе тоже. Он весь затрясся, слезы брызнули из глаз, и он обреченно зашептал:

— Махара, мой бедный Махара! В чем ты провинился, несчастный? Хозяина твоего надо было убить,

хозяина... Нет, я знал, на что шел. Он любил тебя без памяти, и смертью твоей я... убью его, подкошу под корень. — Бросив последний взгляд на свою жертву, мужчина очертя голову кинулся прочь от страшного места.

\* \* \*

После долгих поисков кто-то принес весть: Махара валяется на берегу реки.

«Валяется?!» — ножом вонзилась в сердце Реваза боль.

«Валяется?!» — недоуменно переглянулись те, кто помогал Ревазу в поисках его любимца.

Когда Реваз увидел на берегу безжизненное тело Махары, он упал на колени и горькие рыдания перехватили ему горло.

— Махара, мой дорогой Махара! — произнес он сквозь слезы.

С быстротой молнии облетела всю округу весть о том, что кто-то задушил Махару. К месту трагедии стекались многочисленные друзья и знакомые Реваза — кто пешком, кто на машине.

— Что случилось?

— Кто посмел?

— Тссс! — прерывали любопытных, дабы не бедить пострадавшему душу.

Однако вновь прибывшие настойчиво продирались сквозь кольцо окружающих и, обнажив голову, печально взирали на бездыханное тело.

— Как посмел? Кто этот нечестивец?

— Какая собака подняла руку на это безвинное создание?

— Собачья смерть тому, кто убил Махару!

— Надо поймать его во что бы то ни стало!

— Поймать и судить всем миром!

— Повесить его! — слышались голоса, полные боли, печали и возмущения.

Среди участников траурного собрания был и однорукий Спиридон, директор рынка, который должен был находиться в Тбилиси по «неотложному делу», но, узнав об этом печальном событии, тотчас примчался на место трагедии. Ему с трудом удалось пробиться сквозь тол-

пу, приблизиться к Ревазу Арчиловичу, скромно протянуть потную руку и с дрожью в голосе проговорить:

— Соболезную...

Реваз молчал.

— Какое несчастье! — глубоко вздохнул Спиридон.

И снова в ответ — молчание. Все не сводили глаз с Реваза. Он сидел ни на кого не глядя и нервно кусал губы.

— Что за беда свалилась на нас, люди! — сквозь рыдания выкрикнула какая-то женщина.

Все узнали голос полоумной Маргалиты, обернулись и, не в силах удержаться, прыснули. С трудом сдерживали смех стоящие рядом с Ревазом, но однорукый Спиридон не удержался и в широкой улыбке обнажил свои редкие зубы.

— Чего он лыбится? — зашептал кто-то.

— Наверное, не может скрыть радости, — ответил другой.

Именно в эту минуту Реваз поднял голову и глаза его застыли на улыбающемся лице Спиридона. Он сузил глаза в злобе, душа налилась желчью.

Улыбка тотчас пропала с лица Спиридона, он побледнел и отошел в сторону.

— Бедный Махара, кому ты костью застрял поперек горла?! — вновь запричитала Маргалита.

— Да уберите ее отсюда! — крикнул кто-то.

Маргалиту тотчас посадили в «Волгу» и умчали.

Только сейчас заметил Реваз, что вокруг него собралась толпа. Он тяжело поднялся с колен, смахнул слезу с лица, огляделся и велел всем разойтись.

\* \* \*

Весь район облетела весть о трагической гибели Махары. Разговаривающие по телефону вспоминали собаку, собравшиеся группой люди или двое, встретившиеся на дороге, заводили речь об этом странном случае; даже в застолье пили за упокой души Махары.

— Какой был пес! — сокрушались сотрапезники.

— Лучше всякого человека!

— Ну где справедливость, этот ветрогон Эрванда ходит по земле, а бедняга Махара должен обратиться в тлен?

— Да, не многие могли похвастать такой привязанностью к четвероногому. Бедный Реваз Арчилович, его искренне жаль!

— Он любил его так крепко, как Отелло Дездемону.

— Вот и бедняге Махаре выпала участь Дездемоны.

— А ведь Махара был так же чист и безгрешен, как бедная Дездемона! Да-а... Странная история... Странная и страшная...

\* \* \*

Реваз в течение дня так и не притронулся к еде. Где бы он ни находился, что бы ни делал, его не покидала мысль о Махаре, его гибели. Хорошо еще, что вокруг постоянно крутились люди, иначе Реваз и вовсе свихнулся бы. Двери его дома не закрывались — то и дело приходили люди, узнавшие печальную весть. Но всеобщее удивление вызывало то обстоятельство, что не появлялся Лысый Ваню — ведь после Реваза больше всего был привязан к Махаре именно он. Кто как не Ваню должен был в первую очередь разделить горе Реваза, быть рядом с ним в эту тяжелую минуту. Но Ваню уже несколько дней не было в районе, кто-то сказал, что он полетел в Сванети к больной теще.

Кое-кто смекнул, что дело здесь нечисто, что в гибели пса Лысый Ваню несомненно сыграл роковую роль.

— Его рук дело! — высказался кто-то уверенно.

— Да он не посмел бы!

— Что он, сумасшедший?!

— При чем тут собака?

— Наверное, решил отомстить таким образом. Не мог же он вцепиться в горло хозяину?

— Они были как братья родные, какая черная кошка пробежала меж ними?

— От большой любви до ненависти один шаг, всем известно!

— Это Сардион Кверенчхиладзе и Рафиэл Каджая толкнули Ваню на столь гнусный поступок.

— Ради чего?

— Испугались и, конечно же, позавидовали Лысому

Вано. Шутка ли — ему ведь Реваз обещал место председателя райкоопсоюза.

— Гляди, как они обвели вокруг пальца этого пройдоху Вано!

— Ну, они на сто голов умнее!

— А Вано, поговаривают, не довольствуется содеянным, то и дело строчит пространные письма высокому начальству.

— Ну, он-то знает, что ему надо от жизни!

— Всякое поговаривают...

Подобные разговоры велись в те дни всюду, где собирались люди.

И Реваз Арчилович прекрасно понимал, чьих это рук дело, но не проронил и слова, напротив, на третий день он разогнал всех соболезнующих и твердо велел не вспоминать о случившемся.

\* \* \*

Добросовестно, со всеми подробностями, рассказывали об этом событии Гиви Бидзиновичу, сменившему на посту Реваза. Верные и ближайшие соратники прежнего руководителя вспоминали и другие эпизоды — быль или небыль, кто знает! Если раньше они наперебой восхваляли Реваза, то теперь пытались опередить друг друга, осуждая и порицая его. А новый начальник охотно слушал, то с пониманием кивал головой, то хмурил лоб, и едва уловимая улыбка скользила по его лицу.

— Поймите меня правильно, но руководитель должен знать свое место, знать себе цену, не якшаться со всякими, как колхозный бригадир. Ну что это за начальник, если его не отличишь от простого работника, которого учит уму-разуму и подбирает ему кадры директор ресторана или же который только и знает, что гонять собаку по лесу? Скажите на милость, такой человек может сидеть в столь почетном кресле?! Когда тебе оказывают доверие свыше, его надо оправдать. Если сам себе не знаешь цену, как ты можешь оценить другого!.. А вообще-то честолюбив был этот ваш Реваз Арчилович, и лесть любил... — Последние слова Гиви Бидзинович произнес с ехидной улыбкой и обвел блестящими глазами своих собеседников.

— Вы совершенно правы!



— Разумеется, Гиви Бидзинович, чистая правда! — не преминули согласиться подопечные.

— Честолюбие и подхалимство — опасная страсть нашего общества! — произнес Гиви Бидзинович и откинулся на мягкую спинку кресла.

— Истинно!

— Как вы правы! — наперебой воскликнули собеседники, глядя на Гиви Бидзиновича преданными глазами.

— Такой человек достоин разделить судьбу Махары! — пошутил Гиви Бидзинович и улыбнулся, довольный своей шуткой...

Начальник пошутил и улыбнулся! Что оставалось делать подчиненным. Показывая свое рвение, они залились громким смехом.

Гиви Бидзинович сидел, глубоко откинувшись в кресле, и самодовольная улыбка блуждала на его безмятежном, самоуверенном лице.

Перевод Д. РОБАКИДЗЕ





Григол РОБАКИДЗЕ

## Сталин как дух Аримана

ГЛАВА ИЗ КНИГИ «ДЕМОН И МИФ»<sup>1</sup>

Ленин дал Сталину несбыточное прозвище: «легендарный грузин». Легендарности в Сталине хоть отбавляй, а вот грузинского — весьма и весьма немного. В Грузии необычность характера Сталина объясняют его происхождением: отец его, как утверждают, был родом из Осетии. Не исключено, впрочем, что мы имеем здесь дело с другим феноменом. В недрах каждого народа рождается и чуждое ему, даже направленное против него начало. Это, по-видимому, чисто биологическая тайна. Может быть, эта способность нации порождать чуждое себе призвана преодолевать инснациональное? Сталин — грузин лишь в той мере, в какой он — его антипод.

«Окаменевшая голова доисторической ящерицы» — так назвал Сталина один из его бывших соратников, не подозревавший, возможно, что попал в точку. Узкий, слабо развитый лоб, выдающий человека решительных действий, особенно если он к тому же еще обладает неистощимым спинным мозгом. У Сталина и в мыслительном отношении сильный хребет: он обладает нюхом рептилии. В детстве он перенес оспу, и едва заметные рубцы, оставшиеся после нее, подчеркивают доисто-

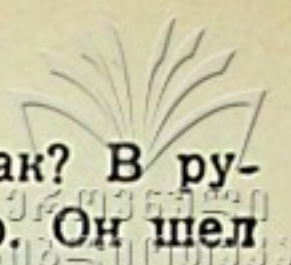
<sup>1</sup> Книга впервые вышла в свет в издании: Григол Робакидзе. Демон и миф. Серия магических картин. Издательство «Ойген Дидерих». Йэна, 1935 г. Как явствует из предисловия автора, данная глава взята им из романа «Убиенная душа», но значительно дополнена и расширена (прим. переводчика).

ричность его головы — так же, впрочем, как и веснушки, придающие его лицу сходство с цесаркой. Под усами скрываются усмешка и ирония, как бы говорящие: «Я, конечно, догадываюсь о том, что ты хочешь скрыть от меня». Эта молчаливая констатация подчеркивается высоко поднятой левой бровью. (Примечательно, что у Ленина поднималась правая). Маленькие, колючие, непроницаемые глаза глядят неподвижно, как бы высматривая, подстерегая добычу. В нем чувствуется холодная кровь существа, несущего бедствия другим, способного перехитрить кого бы то ни было. Под его взглядом никнет любая воля.

Сталин ходит медленно, по-кошачьи мягко, как будто хочет укрыться или внезапно напасть на кого-то. Тайное колдовство, способное быть незримым — не досужий вымысел. В Тибете, например, оно — реальность. Тибетец (йог), не желающий привлечь к себе внимание, становится невидимым: сверхчеловеческим усилием воли он уходит в свою оболочку. Становится недоступным для постороннего глаза. Сталин обладал этим даром уже в то время, когда царская охранка преследовала его за революционную деятельность. Словно лунатик, бродил он по улицам: выслеживая и таясь. Когда же его настигали, пугался не лунатик, а преследователь, которому казалось, что перед ним не реальный человек, а призрак с маской вместо лица. У Сталина было много имен не только в целях конспирации. Для него, как и для Стендаля, это были подлинные имена. В имени есть что-то от личности — так думали древние египтяне. Сталин постоянно менял свое имя, ибо знал, так его будет трудно обнаружить и арестовать. Когда же это все-таки случалось, он ловко ускользал из любых рук. Он побывал во многих тюрьмах — в Тбилиси, Баку, Батуми, в Центральной России и Сибири — и постоянно совершал оттуда побеги. Его ссылали неоднократно, но он каждый раз уходил, появляясь в новом месте под новым именем, под новой личиной. Заметных следов он не оставлял. Он вдруг всплывал где-то — безымянный путник, подобный Голему, который, согласно древнееврейскому преданию, каждые тридцать лет посещает Вселенную. При встрече с ним содрогаешься, но стоит прийти в себя — его уж и след простыл.

Сталин, словно змея, сбрасывал с себя кожу, внутренне неприкасаемый. Однако он был вооружен и другими средствами самозащиты: он обладал способностью презирать действительность. Однажды политических заключенных в бакинской тюрьме заставили пройти сквозь строй солдат, вооруженных





шпицрутенами. И Сталин прошел сквозь строй, но как? В руках он держал брошюру — несомненно марксистскую. Он шел сквозь строй солдат, читая, как будто происходящее вокруг не имело к нему никакого отношения. Он поднял палачей на смех, защитив себя от морального ущерба. Уже тогда он обрел свое подлинное «я».

Как появился на свет и как рос этот аноним? Отец его, сапожник, был пьяницей, грубым и язвительным человеком. Мать Сталина являла собой во всех отношениях противоположность отцу. Отец во хмелю бил мать. Бил он и своего единственного малолетнего сына. В хибарке, в которой обитала семья, царили нужда, свирепость и слезы. Уже при одной мысли о возвращении отца сына охватывала дрожь. В мире, в самом Творении он видел лишь безобразное, а родной отец представлялся ему чудовищем. Этот распад семейных уз роковым образом сказался на душе ребенка. На Востоке знают, какое место в семье занимает отец: он — семя оплодотворяющее, он — космическое начало. Если зародышевую клетку лягушки разделить на две половины, из них родятся две лягушки. Каждая из частей становится не пол-лягушкой, а целой, но по величине равной половине обычной. Биология здесь удивительным образом подтверждает приоритет отца, существующий на Востоке. Что же происходит с первоначальной зародышевой клеткой? Она не обрела плоть, физически ее уже нет, но метафизически она продолжает жить в обеих маленьких лягушках. Каждая из них содержит в себе нерожденного отца. В них живет родовая память об отце. Там, где эта память умирает, жизнь находится в опасности.

В доме Сталина эта память была убита. Сын проклял отца, проклял семя, породившее его, возненавидел самое Творение. Для него не существовало любви, ничто не радовало его. Жизнь его была отравлена неистребимой ненавистью к отцу. Такому сыну, практически растущему без отца, всегда с самого же начала недостает чего-то существенного — радости жизни. Душа его не в состоянии раскрыться перед лицом мироздания. Она никогда не сможет стать воплощенной частью мистически раздробленного Бога. Она холодна, тверда, сурова. Такой породы человек никогда не испытывает состояния экстаза. Услышь он Девятую симфонию Бетховена, особенно ее финал, где в бушующий, словно море, оркестр врываются голоса опьяненных Дионисом людей, голоса, которым открылась новая жизнь — человеческая или сверхчеловеческая — он, несмотря ни на что, не сломает свою скорлупу, чтобы при-

общиться к безбрежной действительности. Он останется холодным, твердым, суровым.

Не зная, что такое экстаз, он не выносит этого состояния у других. Их экстаз не только не увлекает, но даже раздражает его.

Поясним сказанное следующим примером. До начала революционных событий в Дрездене в 1849 году Рихард Вагнер дирижировал Девятой симфонией Бетховена. Как только отзвучали заключительные аккорды финала, тайный подстрекатель восстания анархист Михаил Бакунин подскочил к оркестру и крикнул Вагнеру в порыве восторга: «Если вся музыка сгорит в пламени мирового пожара, который непременно грядет, то мы, рискуя жизнью, спасем эту симфонию!» Бакунин был весь пламя. Другое дело Ленин. Известно его высказывание об «Аппассионате»: «Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!.. Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят — и надобно бить по головкам, бить безжалостно...»<sup>1</sup>.

Ленин здесь проявляет определенную экстатичность. Сталин не способен даже на такой полуэкстаз. Характерная деталь: говорят, что Ленин после продолжительной болезни скончался от воспаления легких при температуре 42,3 градуса. В этом проявилось пламенное люциферовское начало Ленина в противоположность холодному аримановскому духу Сталина. Существо, подобное ему, с самого же начала мистически неполноценно, ущербно. Легенда о Каине и Авеле здесь весьма кстати: Бог принял дар Авеля и отверг дар Каина. Почему? Легенда не дает нам никакого объяснения. Может быть, дар Каина был принесен не от сердца? Возможно, он хотел, чтобы это было так, но дальше желания дело не пошло. Объяснением здесь может служить, пожалуй, лишь предположение, что Каину изначально недоставало дара жизни. На это предположение наводят нас страницы Книги Бытия: если бы Каинов дар был принят Богом Яхве, совершил бы он тогда

---

<sup>1</sup> М. Горький. «В. И. Ленин». — Цитируется по изданию: «Литературные портреты», Москва, 1967, стр. 38 (прим. переводчика).

братоубийство? У того, кому отказано в даре жизни, сердце закрыто для душевных порывов. Сосо Джугашвили, быть может, с горечью чувствовал это уже в юности, когда он навещал, скажем, больного товарища. Он как будто сердечно говорит со своим одноклассником, однако слова его не трогают больного. Приходит другой товарищ, с любовью прикладывает руку ко лбу больного, и боль утихает.

Этой божественной силой является дар жизни. Вспомним, как Гретхен говорит у Гете о Мефистофеле:

Он мне непобедимо гадок.  
В соседстве этого шута  
Нейдет молитва на уста,  
И даже кажется, мой милый,  
Что и тебя я разлюбила,  
Такая в сердце пустота<sup>1</sup>.

Наивная душа Гретхен здесь что-то чувствует. Уже лишь одним своим присутствием Мефистофель убивает любовь, разлагает ее атмосферу. Лирическое начало ему чуждо. Он мог бы создать и более прекрасные стихотворения, чем Райнер Мария Рильке, но в них недоставало бы одного: неосязаемого поэтического потока, столь благодатно струящегося в стихотворных произведениях Рильке. В этом кроется тайна проклятия. Подлинное поэтическое вдохновение никогда не посещало Сталина, хотя юношей он и пел в церковном хоре альтом. Но уже тогда это был, несомненно, голос падшего ангела: ибо и падший ангел чарует своим пением. Сталин даже пытался писать стихи. Это были, как ни странно, патриотические стихотворения. Однако параллельно он изучал эсперанто, так как уже в то время верил в существование всемирного языка — само собой разумеется такого, который был бы сконструирован чисто механически. Его явно раздражало органическое многообразие мира. Более того: он не выносил саму жизнь. Его, как преступника, тянуло к разрушению, он стремился на деле испытать и применить свою всепокрушающую волю.

Нигилизм оказался для него весьма кстати. Владимир Соловьев сформулировал все потуги русских нигилистов в следующей иронической фразе: «Человек произошел от обезьяны, следовательно: да здравствует свобода!» Здесь, правда, «следовательно» — сущая бессмыслица, ибо ведь трудно поверить,

---

<sup>1</sup> И. В. Гете. Фауст. Часть I. Пер. Б. Пастернака. Москва, 1985 г. (прим. переводчика).

что происхождение человека от обезьяны могло бы гарантировать ему свободу. Но дело в том, что психология зачастую сбивает логику с толку, а в этом силлогизме определенно кроется какая-то психологическая загадка. Если бы было доказано, что человек — из обезьяньего племени, тогда даже самые избранные утратили бы свои преимущества перед прочими людьми. Так, например, Наполеон не представлял бы собой ничего выдающегося, а был бы лишь «некто», а Клеопатра — такой же, как и любая другая женщина. Вместе с их преимуществами исчезло бы и благоговение перед ними. Так полагали нигилисты. Однако основополагающей здесь была еще одна мысль: коль скоро человек в своей сущности равен обезьяне, то учение о сотворении мира, в котором человек создан по образу и подобию Бога, можно объявить заблуждением, вытравив тем самым из сознания человека его богоподобие. Эта мысль была недостаточно четко сформулирована нигилистами, но тем не менее они упорно придерживались ее.

И Сталин не избежал влияния нигилистов, начав усердно заниматься естественными науками. Он был твердо уверен в том, что эти штудии приведут его к безбожию. Именно в этом заключался для него коренной вопрос: если Бога нет, значит он свободен. Он не уяснил себе, однако, что, оторванный от Бога, безбожный человек утрачивает и связь со Вселенной. Возможно Сталин подсознательно стремился именно к этому. Если разорвать сакральные нити, связующие вещи воедино, то разрушится сама жизнь. Расчет был верным для того, кому жизнь с самого начала приносила лишь муки.

Он обладает феноменальной памятью — но не воспоминанием! — и железной, холодной логикой. Он удалился от Бога и взрастил себя для преступного самовластия. Он во всем видит лишь негативное; встречая на своем пути положительное, избранника, язвительно усмехается. Хладнокровный, он нередко становился жестоким и неумолимым. Рассказывают, что однажды, проходя по узкой улочке, он случайно наступил на цыпленка и сломал ему ногу. Цыпленок с криком пытался убежать. Сталин догнал и раздавил его. «Все равно ты уже ни на что не годен», — сказал он в приступе ярости... В эту минуту по его лицу, наверно, скользнула тень другого, чужого и жуткого лица.

Ненавистнику жизни всюду мерещились враги. Для подавления врага нужно обладать двумя качествами: выдержкой и иронией. Выдержка у Сталина такая же, как у йога, а ирония его беспримерна... Медленно, незаметно, бесстрастно драз-

нит, колет сн своего противника, подтрунивая над ним, выводя его из себя. С помощью клеветы и унижения он устранял своих врагов. В этом он беспощаден и жесток. Его холодная усмешка временами переходит в язвительный смешок. Злой ли он человек в обычном понимании? Нет, он не убийца, не разбойник, не какой-нибудь другой преступник. Напротив, он желает людям самого лучшего. И все же в его характере есть зачаток чего-то чужеродно-злого. Может быть, он преследует какую-нибудь личную выгоду? Отнюдь нет. Земные радости: женщины, вино, азартные игры, дурман для него не существуют. Характерно, что за грузинским столом, где все воздают должное Дионису, сн один всегда оставался трезвым. Он щедр постольку, поскольку находит этому оправдание. Не скупится он и на советы, наставляя своих товарищей по революционной деятельности. И все же он ни с кем не близок. Неспособный сказать кому-нибудь метафизическое «ты», он никого не может назвать своим настоящим другом, ибо любого, кто пытается сблизиться с ним, он превращает в своего подчиненного. Не исключено, что в глубине души он сознает это как печальный факт. Можно даже допустить, что его порой мучает собственный характер. В такие мгновения он, возможно, впадает в меланхолию. Но едва ли вероятно, чтобы он хоть на миг обнаружил перед кем-нибудь это свое душевное состояние. Ему всегда что-то мешает излить кому-нибудь свою душу.

Со старым миром у него покончено. Ни кровное родство, ни народ, ни вера, ни сродство душ для него не существуют. Народ заменен массой, а душа — классом. Здесь он всегда в своей стихии. Для восприятия социалистической идеи он созрел вполне. Учение Сен-Симона и Фурье его не интересовало, так как он никогда не был склонен ни к романтике, ни к утопии. А вот доктрина Маркса поразила его воображение. Здесь были и логика, и твердость в отличие от мягкотелости ее меньшевистской разновидности. Сталин — прирожденный большевик. В былые времена того или иного человека, случалось, называли дохристианским христианином. Сталина с полным правом можно назвать добольшевистским большевиком. Через Россию нелегальная марксистская литература приходила и в Грузию. Среди этой литературы вдруг стали попадаться статьи Ленина. Они целиком захватили Сталина. Для него началась новая жизнь. Он раз и навсегда нашел свое место, но в другом человеке. В идеях Ленина Сталин нашел то, к чему слепо, на ощупь стремился: демонизм марксистской идеи. То,

что на Западе было «словом», на Востоке должно было стать «делом». И «дело» это невиданным ураганом пронесется по миру, уже до этого потрясенному в своих основах войной.

Ленин представлял собой сжатую в кулак энергию этого урагана. Когда он в plombированном вагоне вместе со своими соратниками проследовал через Германию, чтобы раздуть в России пожар революции, человечество не подозревало, какая вулканическая сила сконцентрировалась в этом вагоне. Ленин появился в России как судьба революции. Он стал ее космическим творцом. Две стихии соединились в одном человеке: славянская и монгольская. Славянская — дыхание хаоса и презрение к пределам, монгольская — гнетущая меланхолия и страсть к просторам. Воля и инстинкт составляли в нем единое целое. Он обладал прирожденными качествами хирурга, которые с годами довел до совершенства: точный глазомер, безошибочная интуиция, самообладание, но не холодное, а пламенное, и твердая рука. При первой же встрече с Лениным можно было почувствовать в нем эти качества. Сталин почувствовал их еще до встречи с ним.

В 1903 году он получил из Европы письмо от Ленина, что означало для него не меньше, чем получение Моисеевых скрижалей. В 1905 году Сталин встретился с Лениным на партийной конференции в Финляндии. Великий революционер сразу же распознал в молчаливом грузине надежного бойца и соратника. В 1906 году состоялся партийный съезд в Стокгольме, на котором большевики потерпели поражение. Но как воспринял Ленин это поражение? «Не горюйте, товарищи! Мы непременно победим, ибо мы на верном пути!» Среди его соратников Сталин был единственным, кто воспринял эти слова не только ушами. Уже в 1907 году на партсъезде в Лондоне большевики победили. Но как отнесся Ленин к этой победе? Сталин позднее вспоминал об этом: «После своей победы он стал особенно бдительным и осторожным» и процитировал слова Ленина: «Во-первых, пусть успех не вскружит вам голову; во-вторых, закрепите успех; в-третьих, уничтожьте врага, ибо он лишь повержен, но еще не мертв». Эти слова более всего пришлись по душе Сталину, ибо сам он никогда не упивался победой и не оставлял противника недобитым. На съездах Сталин был неразговорчив. Он молчал, как и подобает человеку действия.

Стихия Сталина — масса, здесь он всегда был самым собой. От скалистых берегов Финляндии до Колхидской низменности он чувствовал себя органически слитым с массой. Он

встречался с русскими, поляками, украинцами, грузинами, азербайджанцами, латышами, литовцами, евреями и с представителями многих других национальностей. Он хорошо изучил еще дремавшую тогда психологию рабочего класса. Он держал руку на пульсе масс, пробуждая их пролетарский инстинкт. Сталин выкристаллизовал их волю и боевой дух. Он встречался с тысячами и был знаком с тысячами. У него никогда не было друзей, а было лишь неисчислимое множество товарищей. Он не оставлял охранке следов, но в рабочих массах он оставил неизгладимый след. Но даже здесь он предпочитал оставаться в тени: он появлялся на сходках нелегальных организаций как таинственный аноним пролетарской души. Нет поэтому ничего удивительного в том, что он с самого же начала почувствовал все своеобразие русской революции. В 1917 году, после июльских событий состоялась партийная конференция. Ленин в работе конференции не участвовал, так как скрывался в это время. Не было на ней и Троцкого, ибо лишь на этой конференции он был избран членом Центрального Комитета. Руководил конференцией Сталин. Он произнес историческую речь: «Не исключено, что именно Россия в исключительной степени станет той страной, которая проложит путь к социализму... Фундамент нашей революции гораздо шире, нежели в Западной Европе, где пролетариат один противостоит буржуазии. На стороне нашего рабочего класса беднейшее крестьянство... Следует раз и навсегда отказаться от мысли, что лишь Европа может указать нам наш путь...» В среде слушателей, очевидно, возникло сомнение, согласуется ли это утверждение с основными положениями марксизма. Сталин, по-видимому, заметил это и добавил: «Я сторонник творческого подхода к марксизму». Уже здесь он предстал во всем своем будущем величии.

На Ленина он произвел особое впечатление при первой же встрече. Ленин чувствовал в этом революционере какую-то темную, слепую силу. В 1914 году Сталина отправляют в ссылку в город Туруханск Енисейской губернии. В ноябре того же года Ленин пишет в письме Карпинскому: «Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Постарайся узнать фамилию Кобы (Иосиф Дж..., мы забыли ее). Это архиважно.» Сталин находился в ссылке под своей настоящей фамилией: Джугашвили, которую Ленин не мог вспомнить. Ленин помнит о Сталине и в то же время забывает его фамилию, чувствуя что-то чужое, непонятное и вместе с тем притягательно-близкое в этом далеком грузине. Незадолго до Октябрьской

революции Ленина обвиняют в принадлежности к германской агентуре. Ленин был оскорблен до глубины своей благородной души и решил выступить на суде тогдашнего Петроградского Совета в свою защиту. Сталин почувствовал грозившую ему опасность и убедил его не появляться на суде. Быть может, это несжданное решение определило тогда судьбу Октября. После восстания Сталин всегда был рядом с Лениным, хотя и здесь — незримо. Когда Троцкий 15 февраля 1918 года телеграфировал Ленину из Брест-Литовска, прося дальнейших инструкций, тот ответил ему: «Я хотел бы предварительно переговорить со Сталиным, прежде чем ответить на Ваш вопрос». Возможно, Троцкий тогда впервые почувствовал, с кем ему придется иметь дело в будущем.

Сталин верил лишь в Ленина. Но рядом с Лениным выростала вторая фигура — Троцкий. Если Ленин был судьбой революции, то Троцкого можно назвать ее полусудьбой — бывают ведь и полусудьбы. Гений революции больше воплощался в Ленине, талант же — в Троцком. Речь Троцкого представляла собой шедевр ораторского искусства: она росла, как бурлящие волны моря, унося слушателя вдаль. Речь же Ленина была простой, сдержанной, без пафоса, но тем выразительнее. Слово первого воодушевляло, слово второго наставляло. Стиль Троцкого был отточен до предела. После Маркса никто из марксистов не владел пером так мастерски, как Троцкий. У Ленина вообще не было никакого стиля: фразы его путаны и тяжелы, однако они все же убеждали читателя. Троцкий занимался многими проблемами, кроме чисто революционных: искусством, литературой, театром. У Ленина же была лишь одна цель: обеспечить победу пролетариата путем революции. Точно единорог, он направил всю свою могучую волю по одному-единственному пути. Троцкий как революционер предпочитал зигзаги, иногда даже окольные пути. Возможно, что именно в этом заключалась его полужизнь. Троцкий обладал всеми необходимыми качествами великого революционера, однако ему не хватало большевистской души. Но существует ли таковая вообще?

В Евангелии Христос называется «Сыном Божиим» и «Сыном Человеческим». Сын Божий в современном человеке почти умер. Вместо Логоса в нем царит Рацио. Гомо сапиенс превратился в гомо техникус. В нем сохранился в цельности лишь Сын Человеческий, а его божественный дар, заключающийся в том, чтобы быть в большей степени человеком, поставлен под угрозу. Это привело к тому, что мифотворче-



ские силы, в которых лишь и проявляется божественность происхождения человека, начинают иссякать, ибо животворное начало мифа всегда утверждается только и только в том феномене, в котором еще жив формообразующий феномен.

Сознает ли современный человек себя еще как феномен? Едва ли. Будучи уже лишь сыном человеческим, то есть, лишь феноменом, он воспринимает каждое явление только как феномен. Земля для него уже не Великая Мать, а просто некая геологическая реальность. Не оплодотворяемый Логосом, он и сам уже не в состоянии оплодотворять землю, он лишь использует, эксплуатирует ее. Он более не пестун ее, а повелитель и насильник. Так обстоит дело в Европе и Америке.

Что же происходит теперь в большевистской России? То же самое, что и в Европе и Америке вследствие развития техники. Разница лишь в том, что в России этому способствуют сознательно. Демифологизация мира, убиение Земли — материнского лона Божественного — вот чем одержим большевистский человек. В этом направлении ясно прослеживается воля большевиков к власти. Ленин дал точное определение сути коммунизма: «советская власть плюс электрификация всей страны». В переводе на наш язык это означает: демонизм плюс американизм. Здесь гомо техникус превращается в дьявола. Для Европы и Америки утрата силы Логоса в человеке — трагедия, для большевика же, для безбожного человека, всем нутром своим ненавидящим Логос и презирающим божественность своего происхождения, — это вакханалия и торжество нигилизма. Для Европы и Америки господство радио стало проклятием, в то время как большевик со злорадством воспринимает его как триумф своей воли. Европейец и американец, уже не оплодотворяя землю, чувствуют, что лишены былого счастья, большевик же насилует землю, разлагает ее священную клеточную систему, и коллективизация лишь подтверждает, укрепляет его «всемогущество». И вот, что удивительно: если Европа и Америка вместе с Логосом почти полностью лишились и низших пластов бытия: воспоминаний, инстинктов, корней, то у большевиков их запасы неисчерпаемы. Еще одна загадка, еще одна отдельная тема для исследования. Если из головы индейца вырвать божественный огонь и внедрить в нее вместо этого интеллект, то получится большевистский тип человека. Радио и инстинкт — более подходящее сочетание трудно себе представить для революционера. Ленин в полной мере обладал обоими этими качествами, Троцкий же — нет. Большевиком в глубине души он не был. В своем завещании Ленин среди

своих возможных преемников ставит Троцкого на первое место. Весьма примечательно, однако, что он добавляет при этом: «Но Троцкий — не большевик».

Рассказывают следующий случай, происшедший с Троцким. Это было летом 1923 года. Власть в стране сосредоточилась в руках триумvirата: Сталина, Каменева и Зиновьева. Ленин был болен. Троцкий стоял в стороне. Он руководил Реввоенсоветом. Тень Бонапарта не давала ему покоя; после того, как Ленин слег, его пост приобретал все большее значение, а вместе с ним — и фигура Троцкого. Поэтому триумvirат принял решение направить несколько членов ЦК в Реввоенсовет, среди них, разумеется, и Сталина. Никто, конечно, не сомневался, что автором этого проекта был Сталин. В феврале состоялся пленум ЦК, на котором с предельной осторожностью был затронут вопрос о Реввоенсовете. Сталин сидел молча, выжидая. Троцкий сразу же почувствовал, что речь шла об ограничении его компетенции. Он стал горячиться, потерял самообладание. Предложение ввести членов ЦК в Реввоенсовет он воспринял как свидетельство недоверия к себе и с присущим ему пафосом обратился к присутствующим: «Освободите меня от занимаемой должности и отправьте в Германию рядовым солдатом революции!» Это было уж слишком — великий жест Троцкого не произвел желаемого эффекта, хотя его пламенная речь как всегда зажигала.

На большинство членов ЦК слова Троцкого все же произвели впечатление. Вдруг встал Зиновьев и, то ли подражая Троцкому, то ли из хитрости, чтобы тот не заподозрил его в участии в этом заговоре, воскликнул: «Тогда вместе с Троцким и меня отправьте в Германию!»


Если слово Троцкого дышало огнем, то слово женственного Зиновьева было мягким, как спелая слива. Итак, пафос обратился в фарс. Лишь после этого поднялся Сталин и с видом огорчения произнес: «Разве может ЦК позволить себе рисковать жизнью двух таких выдающихся его членов?» Однако Троцкий не успокаивался и настаивал на своем. Вдруг встал делегат из Ленинграда Комаров и резко, грубо бросил: «Почему товарищ Троцкий придает этому такое значение? А вы, уважаемые руководители, совершенно напрасно волнуетесь из-за этого пустяка!» Это было для Троцкого неожиданным ударом. Дело, значит, дошло до того, что вопрос, поставленный им, Троцким, представляется какому-то Комарову пустяком?! Он в бешенстве вскочил и, срываясь на крик, потребовал,

чтобы его исключили из списка действующих лиц этого спектакля, и ринулся к двери

Дверь в жизни Троцкого играла заметную роль. Известно, как он с театральным пафосом крикнул в адрес всего капиталистического мира, когда над Советской страной в 1919 году нависла смертельная угроза: «Мы уйдем, но перед тем, как уйти, так хлопнем дверьми, что мир сотрясется!» Может быть, теперь, идя к двери, Троцкий думал о той своей фразе? Он покидал заметно сконфуженный пленум: ведь он еще ходил в великих революционерах. В зале воцарилось гнетущее молчание. То был исторический момент. Все ждали чего-то — возможно, что Троцкий вот-вот хлопнет дверью. Троцкий взялся за дверную ручку, вероятно, намереваясь хотя бы в малой степени исполнить свою угрозу, высказанную в 1919 году. Но он упустил из виду то важное обстоятельство, что пленум ЦК заседал в Тронном зале Кремля, дверь которого была столь же массивной, сколь могущественной — бывшая династия Романовых. Троцкий резко дернул дверную ручку — но что это? Дверь не поддавалась. Он налег на нее всем телом, и она, наконец, стала медленно, предательски медленно открываться. Пленум смотрел на маленького, тщедушного, сутящегося человека, прилагавшего нечеловеческие усилия, чтобы открыть неумолимую дверь. Все члены ЦК подавили улыбку, и лишь один из них усмехнулся себе в усы. Троцкий, пристыженный, покинул Тронный зал. Все с нетерпением ждали, что он хлопнет дверью, но... жест, предназначавшийся для истории, не получился; и виной тому была эта массивная, строптивая дверь. Человек, усмехавшийся в усы, был Сталин. Кто-то, а он-то уж был уверен, что с ним едва ли случилось бы нечто подобное.

Сталин с самого начала был осколком Ленина. Он так же сочетал в себе рацию и инстинкт, но с той разницей, что второй элемент был в нем развит сильнее первого. В сравнении с Лениным это даже давало Сталину некоторое преимущество. Своим звериным инстинктом Сталин чуял, что полуфатальный Троцкий не сможет руководить революцией. Он с постоянным подозрением косился на Троцкого, ибо не вполне доверял ему.

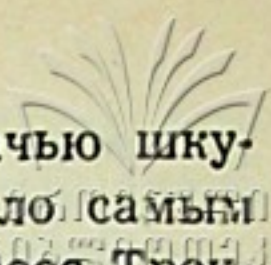
При этом им руководила не зависть, а чутье настоящего революционера, распознавшего чуждый, выросший не из недр революции элемент. Наглядно это проявилось на примере Царицына. Троцкий намеревался использовать в Красной Армии бывших царских офицеров. Сталин же всей душой нена-



видел любых интеллигентов. Произошло столкновение между выходцем из революции и пришедшим в нее со стороны. Ленин чувствовал необходимость как в одном, так и в другом, умело примиряя противоборствующие стороны. Он ограничивал бонапартизм Троцкого с помощью Сталина, а узкой прямолинейности Сталина противопоставлял Троцкого. И вот разгорелась бескомпромиссная борьба между двумя враждебными элементами, из которых один был всегда на виду, другой же постоянно держался в тени.

Троцкий рос рядом с Лениным: полуфатальный, становился судьбой революции. Однако без Ленина он неожиданно утратил то, что называют в человеке роковой отвагой. Троцкий был не из робкого десятка: в годы Гражданской войны он проявил демоническое мужество. Спасение Петрограда от армии генерала Юденича — полностью его заслуга; и заслуга эта тем весомее, что Ленин уже было смирился с тем, что Петроград придется отдать врагу, ибо над революцией тогда нависла и другая, более серьезная опасность. К тому же Ленин действовал чисто интуитивно лишь тогда, когда ему приходилось непосредственно вмешиваться в ход событий. Фронты же он поручил Троцкому. Троцкий убедил Ленина в необходимости защиты Петрограда любой ценой, и он защищал его со сверхчеловеческим упорством и мужеством. И все же за всем этим мужеством непоколебимой скалой стояла судьба революции — Ленин. Когда Ленина разбил паралич, Троцкий сразу же лишился своего мужества.

Но вот наступает переломный, роковой для революции момент. В небольшом деле Троцкий терпит фиаско. И как раз в грузинском вопросе. Часть грузинских коммунистов во главе с Мдивани потребовала для Грузии большей национальной свободы. Против этого требования резче других выступил Сталин: ненавистник отца, он, естественно, не мог любить свою отчизну. Ленин понял, что Грузия представляет собой исключительно своеобразную страну, и поддержал группу Мдивани, хотя с чисто большевистской точки зрения, пожалуй, скорее была оправдана сталинская центристская линия... Не исключено, однако, что здесь действовали и другие силы. После паралича у Ленина, чувствовавшего приближение смерти, обострился звериный инстинкт. Поверженный единорог своими мутными глазками вдруг увидел, что из обычной, ничем не приметной кошки, каковой казался ему Сталин, вдруг вырос тигр. Он упрекал себя, что в свое время недооценил Сталина. Он пытался собраться с силами и мощным окриком загнать уг-



рожающе раскрывшего пасть хищника назад, в кошачью шкуру, но было слишком поздно. Надо полагать, это было самым горьким разочарованием Ленина... В грузинском вопросе Троцкий был на стороне Ленина — само собой разумеется, не из любви к Грузии. Больной Ленин подготовил доклад, который должен был сыграть на двенадцатой партконференции роль бомбы против Сталина. Однако, боясь повторного апоплексического удара, он поручает весь материал Троцкому, а Каменеву передает копию письма к Мдивани. Этого было достаточно, чтобы Сталин все узнал. Он приготовился к бою. Сначала попытался уговорить Ленина, но Крупская помешала ему встретиться с вождем. Здесь, по-видимому, Сталин нанес оскорбление супруге вождя. Узнав об этом, Ленин в бешенстве продиктовал Крупской письмо к Сталину, в котором сообщает ему, что рвет с ним, своим бывшим соратником, всякие личные отношения. Это было последнее письмо Ленина и, вместе с тем, самое роковое. Сталин, конечно, хорошо понимал, что означал для него разрыв с Лениным, и со свойственной ему цепкостью и молчаливой угрюмостью приготовился к прыжку. Троцкий вызвал к себе Каменева, сообщил ему все и потребовал, чтобы политика в национальном вопросе — в данном случае в грузинском — была изменена и чтобы Сталин извинился перед Крупской. Каменев передал эти требования Сталину. Сталин уступил: он принес Крупской свои извинения и послал Каменева в Грузию с поручением внести коррективы в национальную политику. Однако после этого он еще больше замкнулся в себе, помрачнел и приготовился к чему-то совершенно другому. Как раз в это время Ленина постигает второй апоплексический удар. Сталин тут же посылает Каменеву вслед телеграмму. Каменев же был достаточно хитрым политиком, чтобы не понять, как ему теперь следует поступить. По прибытии в Тбилиси он перешел на сторону Орджоникидзе, который придерживался сталинской ориентации в национальном вопросе. Вместо того, чтобы выполнить приказ вождя и распорядиться об изменении проводимой до сих пор национальной политики, он, наоборот, способствовал ее упрочению.

Так закончилась эта маленькая интермедия, в которой, однако, решалась судьба будущего вождя страны. Вместе с апоплексическим ударом Ленина Троцкий лишается своего исторического мужества, утрачивает свою фатальную притягательную силу. Он становится неуверенным в себе. Он не знает, что в грузинском языке слова «судьба», «мужество» и «счастье» имеют один корень. Сталин же знал эти слова и


не только их буквальное значение, хотя третье — «счастье» — он никогда до конца не понимал. Еще до смерти Ленина Сталин взял на себя смелость быть Лениным. То, что произошло после, следует рассматривать лишь как развитие начала, зачатка.

Несколько страниц из хроники того времени.

В 1923 году состоялась двенадцатая партийная конференция. Письмо Ленина относительно грузинского вопроса на ней не было зачитано. Сталин просто сообщил, что Ленин, мол, получил из Грузии неверные сведения и предложил конференции свое решение вопроса, которое и было затем принято единогласно. Как ни странно, к этому решению тогда присоединился и Троцкий. Возможно, это было уже началом его душевного разлада. Так или иначе, но он горько сожалел об этом позднее. На съезде Коминтерна, состоявшемся в 1926 году, снова был поднят грузинский вопрос. Сталин спокойно и уверенно заявил (Ленина уже не было в живых), что тогда, дескать, Ленин болел и не был в состоянии углубиться грузинские дела. Относительно Мдивани он тогда же сказал: «Утверждают, что я преследовал Мдивани. Допустим, но чедь события, имевшие место позднее, показали, что так называемые уклоны, в которых справедливо упрекали Мдивани, потребовали и более строгих мер, нежели те, которые я применил по отношению к нему в качестве секретаря ЦК.» В заключение он со скрытой усмешкой добавил, что Троцкий, мол, на двенадцатой партконференции голосовал за то решение грузинского вопроса. Троцкому ничего не оставалось, как с молчаливой досадой проглотить это напоминание.

С этого момента начинается длительная изоляция Троцкого. Сталин обрушил на него всю революционную гвардию — Зиновьева, Каменева, Калинина, Бухарина, Томского. Сам же полководец оставался в тени: для успеха дела это даже было удобно. Тут же появился термин: «троцкизм» в противовес «ленинизму», и вот уже готов лозунг: «Долой троцкизм!».

Теперь Сталин почувствовал себя в безопасности. Его беспокоило лишь то, что в завещании Ленина он был подвергнут резкой критике. Ленин смутно чувствовал, что на посту генерального секретаря партии Сталин может сыграть роль злого гения революции. В завещании прямо об этом не говорилось, но можно было прочесть между строк, и Сталин первым прочел это. Он чуял грозившую ему опасность. Но как нейтрализовать ее? Ему удалось воспрепятствовать оглашению завещания вождя и на тринадцатой партконференции. Однако



вокруг него тайком говорили об этом завещании. Тогда Сталин решился на следующий маневр: во время заседания пленума вновь избранного ЦК он сам зачитал текст завещания. В интимной атмосфере Центрального Комитета это произвело впечатление самоотвержения и самокритики. Он спокойно процитировал характеристику собственной персоны, данную в завещании вождя, и затем скромно спросил: «Разве я груб? Может быть, это и так. Но ведь я груб только по отношению к тем, кто идет против воли партии». (Это было сказано почти откровенно). И далее: «Но если партия примет решение освободить меня от занимаемого поста секретаря, я готов». А это уже была явная уловка. Взвешенный, хитрый шахматный ход удался. «Просьба» об увольнении, конечно же, была отклонена: ведь большинство группировки ЦК во главе с Каменевым и Зиновьевым было заранее соответствующим образом подготовлено. Так Сталин одержал победу над завещанием Ленина.

Влияние Троцкого в партийных кругах начинает ослабевать. В 1925 году он опубликовал книгу под заглавием «Октябрь», в которой Зиновьев и Каменев, не принимавшие участия в Октябрьском восстании, называются трусами и предателями. В борьбе против Троцкого эта книга оказалась для Сталина бесценной находкой: теперь Каменев и Зиновьев были вынуждены сделать все для того, чтобы добить Троцкого. Они вспомнили об его прежних «грехах», о конфликте с Лениным и еще о многом другом — словом, объявили Троцкому непримиримую войну. Сталин лишь потирал руки от радости. В 1925 году Троцкий был «освобожден» от поста комиссара по военным делам. Благодаря этому он сразу же лишился своего положения, используя которое мог бы в свое время совершить государственный переворот. Троцкий был повержен. В борьбе двух демонов, как всегда, Ариман — порождение ненависти и злобы — одолел полугения Люцифера.

Лишь теперь Каменев и Зиновьев поняли, что были не более чем орудием в руках Сталина. Но покаяние опоздало. Они осознали, что нейтрализовали как раз того, кто мог сместить Сталина. Они заключают с Троцким союз против Сталина. Однако Троцкий уже не был прежним Троцким: грузинская поговорка гласит: рысак, которому хоть один-единственный раз свело ногу судорогой, уже ни к чему не пригоден. К тому же сам факт внезапного перехода Каменева и Зиновьева на сторону Троцкого, с которым они еще недавно вели отчаянную борьбу, говорил против них в глазах большинства ЦК.

Сталин, конечно, воспользовался и этим настроением. Каменев и Зиновьев объявили свою прежнюю борьбу с Троцким недо-разумением, ошибкой. Это усугубило их и без того шаткое положение.

Однако оппозиция против Сталина не сдавалась. В 1926 году она повела наступление против выдвинутого Сталиным тезиса о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Сталин упорно защищался. Обе враждующие стороны забросали друг друга цитатами из Маркса, Энгельса, но больше всего, конечно, из Ленина. Никто, однако, по-настоящему не понимал, что с помощью цитат, собственно говоря, можно доказать что угодно. А оппозиция к тому же забыла, что власть куется не цитатами. Произошло то, чего и следовало ожидать: 16 октября того же года Троцкий, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Сокольников, Евдокимов прекратили борьбу. Они заявили, что подчиняются воле партийного большинства, но выразили при этом просьбу сохранить за собой возможность отстаивать свои убеждения внутри партии. Это уже было коллективным поражением. Оппозиция все еще не видела, что «внутри партии» означало «в руках Сталина». До этого они уже на себе испытали твердость этих рук — тем неожиданнее было их решение. Уже на следующем пленуме ЦК они смогли убедиться в этом: Троцкий и Каменев были выведены из состава политбюро, а Зиновьев отстранен от руководства Коминтерном. Тем не менее, оппозиция не собиралась складывать оружие. Она продолжала борьбу в рамках Коминтерна. При этом она опять-таки упустила из виду, что Коминтерн был просто-напросто отдан на произвол Центрального Комитета, и снова потерпела фиаско. Особенно чувствительное поражение потерпел Каменев, которое он позднее, конечно, учел. В разгаре дискуссии Сталин с напускным безразличием, но с едкой иронией произнес: «Я говорю о случае, происшедшем с Каменевым в то время, когда он после отбытия срока ссылки еще находился в Сибири. Товарищ Каменев после мартовской революции встретился с ведущими коммерсантами Сибири для того, чтобы послать поздравительную телеграмму Михаилу Романову, которому царь после своего отречения уступил трон. Известный большевик вкупе с видными купцами посылает поздравительную телеграмму Михаилу Романову, брату бывшего царя, долженствующему сменить последнего на троне!?» Все члены ЦК были возмущены неслыханной выходкой Каменева. К дискутируемому вопросу это сообщение не имело прямого отношения, но тем сильнее, тем



убийственнее было его действие. Пристыженная и смущенная оппозиция была вынуждена вместе с Каменевым умолкнуть.

Так была разбита левая фаланга ленинской гвардии. Пронесся слух, что китайские союзники предали Сталина. Еще за день до этого Сталин продиктовал восторженную речь, посвященную китайской революции. Говорят, она уже была набрана для «Правды». Однако статья не вышла из печати: как видно, Сталин хотел этим сказать, что и по отношению к китайским событиям он не допустит промаха. И тут лоббежденная оппозиция пришла в себя. Зиновьев вдруг осмелел: на собрании, участниками которого были и беспартийные, он злобно намекнул руководству ЦК на отношение Сталина к китайцам. Троцкий же пошел еще дальше: он обвинил Сталина в предательстве дела мировой революции. Было распространено письмо, подписанное 38 старыми большевиками и направленное против Сталина как руководителя партии. Группа рабочих в составе 15 человек охарактеризовала политику Сталина как антипролетарскую. И снова разгорелась жестокая борьба. Разгневанный Сталин готовился к отмщению. Троцкий собрал свои последние силы. На очередном пленуме он просто потребовал освобождения Сталина от поста генерального секретаря ЦК. В ораторском пылу он сослался на пример Клемансо, который в 1914 году при приближении немецкой армии к столице Франции потребовал отставки несостоятельного французского правительства. Как всегда, Троцкий «увлекся» и на сей раз. Этот его удар Сталин парировал с присущей ему легкостью: «В то время, как враг стоит не далее, чем в 80 км от стен Кремля, этот наш Клемансо, этот опереточный Клемансо, так как враг уже подошел вплотную к Кремлю, сначала, значит, расправится с существующим большинством (Центрального Комитета) и лишь после этого займется решением самого вопроса.» И здесь не было никакой логики, однако, тем сильнее и точнее оказался контрудар. Очень тонко Сталин намекнул на то, что большинство ЦК было на его стороне, а еще тоньше — на то, что Троцкий лишь в непосредственной близости воображаемого противника намеревается проявить свое мужество, чтобы затем воспользоваться замешательством большинства ЦК. И все же решающую роль в контрударе Сталина сыграли вводные слова: «этот наш Клемансо, этот опереточный Клемансо». При стычках между революционерами то или иное метко брошенное слово всегда определяло судьбу того, против кого оно было направлено, так случилось и на сей раз: прозвище, данное Сталиным Троцкому,

прозвучало, как приговор. Итак: Троцкий — опереточный Клемансо? Этот удар оказался тем убийственнее для Троцкого, что был совершенно неожиданным для всех. И снова оппозиции пришлось отступить.

В 1927 году отмечалось десятилетие Октябрьской революции. Оппозиция попыталась еще раз собраться с силами: в Ленинграде и Москве она организовала массовые демонстрации против центрального руководства. Оппозиция, однако, не учла, что СССР — не царская Россия, в которой подобные средства борьбы с противником еще имели какой-то смысл. Этим оппозиция добилась лишь того, что Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. Та же судьба постигла на пятнадцатой партконференции Раковского, Радека, Пятакова, Каменева. Зиновьев и Каменев вскоре покаялись. Сталин назначил обоим, как «неисправимым ученикам», испытательный срок. Это означало для них уже не только политическую смерть, но и позор.

Так Сталин окончательно расправился с левой оппозицией. Кое-какие требования, выдвигавшиеся левыми, он все же считал в целом справедливыми и начал претворять их в жизнь. Так, он объявил непримиримую классовую борьбу кулакам, то есть зажиточным крестьянам.

И вот появилась оппозиция справа, но она не обладала ни силой, ни гибкостью, ни цепкостью левых. С этой силой Сталин справился играючи. На какой-то конференции он даже поднял на смех лидеров новой оппозиции: Рыкова, Бухарина, Томского: «Вы, — сказал он, — страдаете той же болезнью, что и известный герой Чехова, учитель греческого языка. Он, как вы знаете, постоянно ходил в галошах, в теплом пальто на вате, с зонтиком как в холодную, так и в теплую погоду. Когда его спрашивали, почему он в июльскую жару ходит в галошах и зимнем пальто, он неизменно отвечал: «Как бы чего не вышло... как бы мороз не ударил... Что тогда мне делать?..» Он боялся всего нового и прежде всего того, что выпадало из привычной, монотонной жизни. Когда открывался новый ресторан, Беликов волновался: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло...» Появилось новое литературное общество, открыли читальню, а Беликов снова испугался: «Как бы чего не вышло...» Сталин привел случаи из жизни и деятельности Рыкова, Бухарина, Томского — и они предстали перед многочисленной аудиторией в роли этого смешного, незадачливого учителя греческого языка. Друж-

ный продолжительный хохот прокатился по залу, в котором проводилась конференция.

К тому времени Сталин уже был диктатором...

Проходили дни, недели, месяцы, годы... Оппозиционные группы справа и слева, как могли, противостояли Сталину, но, закаленный в борьбе, он неизменно одерживал над ними верх. Побежденные склоняли головы перед ним и каялись в своих прегрешениях. Всех изумляли победы этого «легендарного грузина». Они пытались понять задним числом значение этого прозвища, данного Сталину вождем. Они дивились, но не понимали, откуда в этом грубом, диком кавказце такая неодолимая сила. Всем было невдомек, что в большевистской душе Сталина неиссякаемый звериный инстинкт питает рассудок. Для достижения победы именно этот фактор имел решающее значение. Победа следовала за победой, и не было силы, способной остановить его. В немифологическую эпоху на территории бывшей Российской империи вдруг появился человек, обладающий неслыханной тотемистической силой.

Судьба революции — Ленин — лежала в гробу — забальзамированный миф новоявленного фараона. Герой революции Троцкий, сосланный на берега Босфора, пишет там, или где-то в другом месте, мемуары. Штурвал революции перешел в руки Сталина. Он сидит в Кремле, словно очеловеченный радиоприемник, принимая со всех концов Советского Союза бесчисленные радиоволны. Но Сталин — не только приемник, но и их творец и судья. Одним указом он притормозил всю коллективизацию, когда «успехи» вскружили голову не в меру ретивым и чуть было не привели страну к катастрофе. В течение восемнадцати лет, будучи сам редчайшей молекулой, он был погружен в молекулярные процессы, происходившие в массах рабочих; и не было ни одной-единственной, которой бы он не коснулся. Другие его соратники жили до революции вне России. Они следили за развитием революционных событий на Родине из Европы, отсиживаясь в эмигрантских мансардах. Сталин постоянно находился в водовороте рабочих масс — невидимый, но активный элемент.

В прежние времена в вожаке племени концентрировалась сила всего рода. Сталин аккумулировал в себе энергию масс; и когда развитие революции стало приближаться к победному концу, он вдруг неожиданно для всех оказался в ее авангарде. Он воплощал собой революцию. Он уже — не человек, он — существо или чудовище, непостижимое и страшное.

Кое-кто сравнивал его с Чингисханом или с Тимуром.

Это неудачное сравнение, ибо у монгольских завоевателей были страсть, душевные порывы и бредовые идеи. Для Сталина страсть не характерна вообще: он был холоднокровным существом. В определенном смысле это даже умножало его силу. Слова Ницше о зрелости гения: «К нему вернулась серьезность, которая была для него характерна в детстве, во время игры» к Сталину никак не отнести. Такой серьезностью он не обладал никогда, ибо у него и в детстве не было детства: с малых лет он был удручен и не любил играть. Свободный от каких бы то ни было комплексов или скованности, он действовал подобно стихии: слепо и всепоглощающе.

Поговаривали, что он завистлив, подтверждая это следующим случаем: за спасение Петрограда политбюро решило награждать Троцкого орденом Красного Знамени. Каменев вдруг предложил вручить этот орден и Сталину. «За что?» — громко спросил Калинин. И Бухарин объяснил: «Неужели вы не понимаете? Это предложил Ленин. Ведь Сталин не терпит, когда не получает того же, что и другой. Он этого просто не прощает». «Об этом случае рассказывали, упустив из виду, что на сей раз, если это, конечно, не выдумка, Ленин ошибся, несмотря на свое превосходное знание людей. Сталин просто-напросто не мог быть завистливым. Он, правда, не выносил, когда кого-нибудь избирали, но не потому, что сам хотел быть избранным, а потому, что не терпел вообще никакого избранничества, будь то чужое или его собственное. Ощущение избранности — свойство экстатическое. Сталин же даже в переносном, отдаленном значении этого слова никогда не обладал дионисийским началом. Именно отсутствие этого качества послужило Сталину непробиваемым панцирем в борьбе за власть. Упоение победой чуждо ему.

Всех поражает аскетизм Сталина, то, что ему чужды чувственные наслаждения: женщины, вино, азартные игры. Однако, никто не понимает, что Сталин никакой не аскет — наслаждение не в его натуре. Нужно любить, чтобы ощущать радость, радость до самозабвения. Сталин же никогда не забывался; и слова Достоевского об аде, хотя Сталин не верит ни в ад, ни в рай и, вслед за Лениным, всякую веру в Бога принимает за труположество — слова Достоевского: «Он (ад) есть страдание о том, что нельзя уже более любить» — должно быть, заставляют его порой задуматься. Он не был наделен даром любви. Эта душевная пустота — причина его безграничной меланхолии, которую он скрывает за непроницаемой ширмой своей неутомимой деятельности.

Снедаемый лихорадкой активности, Сталин сидит в Кремле — власть имущий, но не властелин, ядро революционных сил, существо, но не человек, проводник с предостерегающей надписью: «Опасно для жизни!» Даже разговор с ним по телефону угнетает любого. Никто не застрахован от его опасных действий. Излучая токи, наводящие ужас на людей, он неприступным колоссом возвышается над всеми — слепой и холодный рок Советской страны, а, быть может, — и всего мира. В те редкие в его жизни мгновения, когда в нем, невозмутимом и непоколебимом, отключаются эти токи и он выплывает из их сети, опустошенный, сам себе чужой, в страхе сознающий, что силы его небеспредельны, тогда он, Сталин — всего лишь Сосо Джугашвили, простой грузин. Тогда он смутно вспоминает далекую Грузию, от которой у него сохранились лишь вкус сациви, кахетинского вина, застольная песня «Мравалжамиэр» и грузинское проклятие: «Магати дэда ки ватирэ» (Я заставляю рыдать их матерей).

1935 г.

Перевод с немецкого Сергея ОКРОПИРИДЗЕ



Теймураз МАГЛАПЕРИДЗЕ

## Пламенное сердце

(К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ДИМИТРИЯ КИПИАНИ)

После мученической смерти Димитрия Кипиани грузинский народ признал его национальным героем. Мы знаем, подобного рода титулом народ так просто не награждает, необходимо выстрадать его, по-настоящему заслужить, и поэтому сегодня, спустя 175 лет после рождения Димитрия Кипиани, мы, далекие его потомки, обязаны разобраться в истинной ценности этого звания. Может быть то, что было жизненно важным для наших предков, сегодня утратило свое значение? Может быть, у нас и наших предков мало общего и нами движут иные интересы? Или, может быть, провозглашенный в свое время национальным героем Димитрий Кипиани на сегодняшний день — скромный персонаж истории и ничего более?

В этом стоит разобраться.

Когда я смотрю на фото Димитрия Кипиани в преклонном возрасте, невольно вспоминаются лица библейских пророков. Подобные лица я видел и на фресках гениального Дамианэ, расписавшего Убиси — белоснежные усы и борода, ясный, погруженный в себя взгляд, доброе и в то же время непреклонное выражение... Точно такое, какое описал один древний автор: «Поелику волосы и усы чисты были, точно снег, лик отмечен благодатью, нигде не встречал я столь осиянного лица человеческого, как это, свет излучающее, что подтверждают те, кто знал его».

Такого рода личности, обычно, «говорят с Богом», «непокорны врагу», ведут за собой народ и первыми принимают

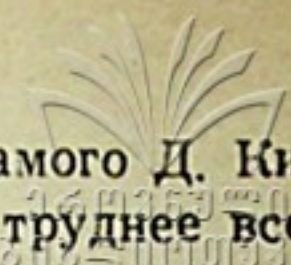


на себя удары судьбы. Димитрию Кипиани выпало <sup>жить и</sup> творить в тяжкое время. Когда он родился (1814), грузинская государственность со своими тысячелетними традициями была уничтожена царской Россией. Все национальное, грузинское выкорчевывалось, предавалось огню и мечу. В подтверждение этого приведу цитату из Ионы Меунаргия. В 1828 году, когда Грибоедов обвенчался с дочерью Александра Чавчавадзе — Нино, на свадьбу, естественно, были приглашены и представители грузинской знати, в том числе ставший впоследствии известным драматургом Георгий Эристави. «В назначенное время Георгий Эристави, облаченный в грузинский национальный костюм, подъехал ко дворцу наместника и стал подниматься по лестнице. Представьте его изумление, когда в этот момент какой-то полицейский чиновник ухватил его за полу чохи и не позволил подняться в зал в грузинском костюме. Георгий посчитал это за оскорбление и вернулся домой. Самолюбие не позволило ему переодеться и явиться на свадьбу».

Эта, на первый взгляд, незначительная деталь позволяет делать далеко идущие выводы. Русское правительство не удовлетворилось уничтожением политико-национального организма нашей страны, оно старательно выкорчевывало даже внешние проявления национальных особенностей.

Поначалу подобная политика болезненно воспринималась грузинами, затем, со временем, когда явления такого порядка стали нормой, гордая натура грузина оказалась сломленной, им овладел непонятный страх, мышление раздвоилось: вынужденный подчиняться, он мирился с действительностью и в то же время иступленно жаждал свободы. Грузинская мысль была в полной растерянности. Слишком мощной оказалась сила, подавившая грузинскую государственность, аннексировавшая Грузию духовно.

Вот в таких условиях формировался Димитрий Кипиани как личность и гражданин. В книге мемуаров (напечатана в 1930 году с предисловием С. Хундадзе) он рассказывает о своем отрочестве: «В начале 20-х годов родители, привозя своего ребенка в Тбилиси (для продолжения учебы), могли выбирать всего лишь между двумя училищами. Здесь, конечно, речь не о том, где как учили. И о семинарии, и о благородном училище можно было сказать одно: и тут и там учили зубрежке и били линейкой по рукам за малейший проступок. Вот и вся премудрость тогдашней педагогики». Д. Кипиани учился сперва в семинарии, потом его перевели в благородное



училище. В этом училище процветали, по словам самого Д. Кипиани, насилие, оскорбления, рукоприкладство, но труднее всего было переносить, что администрация беззастенчиво, не скрываясь, проводила политику обрусения подростков. Этому способствовало еще и то, что в Тбилиси тех лет любое национальное начинание было обречено на неудачу, нельзя было и думать о грузинской духовной пище. «В то время, о котором я говорю, т. е. в 20-е годы, в Тбилиси не было никакого общественного времяпрепровождения. Откуда-то появлялись бродячие жонглеры или паяцы и так же исчезали. Очень редко давались домашние представления, где роли женщин исполняли мужчины. Изредка собирались потанцевать, но танцующих женщин было еще очень мало» (Д. Кипиани, «Мемуары»).


Обрусение страшным дамокловым мечом висело над тогдашней Грузией. Правительство не останавливалось ни перед чем, лишь бы достичь заветной цели, но его чаяниям не суждено было сбыться. Не суждено было сбыться хотя бы потому, что грузинский нерв, сущность грузинского патриотизма, правда, глубоко сокрытая, но все еще живая, тлела, как угли под слоем золы, и достаточно было слабого дуновения, чтобы она вспыхнула как костер.

Очень скоро выяснилось, что новый режим не оправдал возлагаемых на него надежд. Недовольство вылилось в заговор 1832 года, одним из участников которого был юный Дмитрий Кипиани. Правда, Дмитрия Кипиани связывали тесные дружеские отношения с руководителями заговора, в частности он был вхож в дом царевны Тэклы, дочери царя Ираклия, которая, оказываясь, своими руками сшила и вышила знамя свободной Грузии. Но Дмитрий Кипиани с юности отличался трезвым мышлением и хорошо понимал, что свержение царского режима в Грузии на голом энтузиазме, голом патриотическом порыве невозможно. Для этого необходимо нечто иное, к чему тогдашняя Грузия была не готова ни физически, ни духовно.

Зная о бескомпромиссном, прямом характере Д. Кипиани, можно полагать, что он развивал эти свои мысли в среде заговорщиков, по-видимому, не находя среди них сторонников, поскольку заговорщики, одержимые «политическим романтизмом» (Кита Абашидзе), были лишены способности трезво анализировать явления.

Заговор был раскрыт в результате предательства Иасэ Палавандишвили, но он и без того был обречен на неудачу. Руководители заговора понесли различного рода наказания и





были рассеяны по огромной территории Российской империи. На долю Дмитрия Кипиани выпала ссылка в Вологду. Вла-  
ли от родины, на чужбине, у него, естественно, было вдоволь  
времени обдумать, какие результаты принес грузинскому на-  
роду заговор 1832 года, и была ли в нем необходимость во-  
обще. Удивительно, но этот вопрос Д. Кипиани обходит в сво-  
их мемуарах стороной. Мы можем только предполагать, что  
он думал: безусловно, необходимость была; хотя бы ценой еще  
больших жертв, но грузинский народ надо было пробудить ото  
сна.

Независимость и свобода — единственное условие для  
нормального, естественного существования любой нации, но  
освободиться от дракона, русской империи, голыми руками—  
это не что иное, как тот же «политический романтизм» и ни-  
чего больше. Для этого необходима была работа, кропотли-  
вая работа и постепенное, шаг за шагом, приближение к за-  
ветной цели. При этом необязательно уклоняться от сотруд-  
ничества с властями, но под русским мундиром должно бить-  
ся грузинское сердце. Между прочим, подобное мышление ха-  
рактеризовало впоследствии целые поколения грузинских ин-  
теллигентов, которые этот принцип положили в основу своей  
деятельности. Одним из них был возвратившийся на родину  
в 1837 году из вологодской ссылки Дмитрий Кипиани. К  
счастью, кроме него, возвратилось большинство репрессирован-  
ных, так сказать, сливки грузинской интеллигенции: Ал. Чав-  
чавадзе, Гр. Орбелиани, Г. Эристави, Александр и Вахтанг  
Орбелиани... (В сибирской земле нашли свой последний при-  
ют Соломон Додашвили и Соломон Размадзе). Их возвраще-  
ние знаменовало возрождение грузинской культуры. То было  
время зарождения и расцвета грузинского театра, основания  
«толстого» журнала «Цискари», но все это произойдет позд-  
нее, а пока создан шедевр грузинской поэзии «К Иарали»  
Гр. Орбелиани, ряд других его блестящих стихотворений и,  
что главное, полностью раскрывается талант Николоза Бара-  
ташвили. Еще совсем юный, он пишет свои знаменитые «Су-  
мерки на Мтацминда», «Таинственный голос», а ко времени  
возвращения заговорщиков создает непревзойденные шедев-  
ры поэзии.

Дмитрия Кипиани и Николоза Бараташвили связывали  
дружеские узы. Жена Д. Кипиани вспоминает: «Нико, кото-  
рого мы называли Тато, был большим другом моего Дмит-  
рия. Он часто бывал у нас с раннего утра до позднего вече-  
ра, обедал и ужинал с нами и только на ночь уходил к себе».

Нетрудно догадаться, о чем они могли беседовать между собой. В первую очередь о судьбе Грузии и связанными с ней еще не зажившими ранами; о смысле жизни и предназначении человека; о других насущных проблемах... Несомненно, Д. Кипиани был непосредственным свидетелем рождения не одного стихотворения Бараташвили и первым их слушателем. Вот еще одно свидетельство, имеющее бесспорное историко-литературное значение. «Наша литература обогатилась двумя превосходными переводами: Кипиани перевел трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта», а я трагедию Лейзевица «Юлий Тарентский». Может быть ты даже читал их, они были опубликованы в «Библиотеке». Мне они очень понравились, а наши просвещенные дамы даже пролили над ними слезу...» (Из письма Н. Бараташвили Гр. Орбелиани от 28 мая 1841 г.).

Имя Шекспира в комментариях не нуждается, а Лейзевиц был известным представителем литературы «Бури и натиска». Упомянутая трагедия оказала влияние на творчество самого Шиллера, что в итоге свидетельствует о безупречном литературном вкусе Бараташвили. (К сожалению, на сегодняшний день перевод считается утерянным). Вызывает интерес, кто были те образованные дамы, которые «пролили слезу» над бараташвилевским переводом? По этому поводу Д. Кипиани пишет: «В небольшой группе тбилисских дам блистали тогда две княжны: Нино Александровна Чавчавадзе, впоследствии жена Грибоедова, и Манана Ивановна Орбелиани, впоследствии мать жены фельдмаршала князя Барятинского». Разумеется, были и другие — Маико, Катина, Бабале, Анна, Мелания, Елена...».

Д. Кипиани объединяло с Н. Бараташвили духовное родство и общие литературные интересы, что еще более возвышает его в наших глазах. Тем более удивительно и досадно, что в своих мемуарах он упомянул о Бараташвили одной-единственной строкой, назвав его в числе учредителей городской библиотеки: «секретарь губернатора к-зь Николоз (Тато) Бараташвили, выдающийся грузинский поэт, умерший в г. Елизаветополе». Разве это не насмешка судьбы?

Тбилиси того времени, когда начиналась чиновничья карьера Дмитрия Кипиани, был удивительным патриархальным городом. «До появления первых экипажей горожане передвигались на неуклюжих арбах или породистых лошадях. Но в непогоду это транспортное средство было очень неудобным. Я неоднократно наблюдал: в дождь прекрасные дамы прибывали на бал во дворец главноуправляющего весьма ориги-

нальным образом — как это принято в далекой Японии укрывшись под зонтом, сидя на шее у здорового парня» пишет Д. Кипиани. В его мемуарах, основная часть которых носит оригинальное название «Школа духа», довольно точно, с соблюдением хронологии отражена чиновничья карьера, которую проделал автор, начиная с возвращения из Вологды вплоть до конца 80-х годов, когда его, уже глубокого старца, вновь сослали уже в Ставрополь, где он и умер. Но об этом ниже.

Совсем еще юный, окончив благородное училище, Д. Кипиани начинает работать учителем в этом же учебном заведении. Затем он занимал разные должности в канцелярии главноуправляющего вплоть до ее заведующего; управлял имуществом и имением царицы Самегрело — Екатерины Чавчавадзе; был тбилисским городским головою, предводителем дворянства сперва Восточной Грузии, потом Кутаисской губернии. Вот неполный перечень его должностей. Однако простое перечисление их ничего не скажет нашему современнику, если он не учтет того, что Д. Кипиани был человеком светлого ума, непреклонной воли, глубоко принципиальной и бескомпромиссной личностью и, что главное, под русским мундиром, который он носил, билось сердце истинного грузина. Естественно, тогда он верно служил и царскому престолу. Первый период его деятельности характеризуется, можно сказать, чрезмерными монархическими настроениями, но это не мешало ему в любом деле руководствоваться, в первую очередь, интересами Грузии.

«Человек характера», — назвал его как-то Илья Чавчавадзе и добавил: «Он никогда не сказал бы «да», если его сердце говорило «нет». Трудно сказать больше о достоинстве человека вообще...». В январском номере «Цискари» за 1860 год Д. Кипиани под псевдонимом Бакар Картлели писал: «Народ, забывший родной язык, теряет свое лицо. Лишенный всяческого уважения он исчезает из мира так, что не остается даже воспоминания о нем, и не только исчезает сам, но уносит с собой память о своих славных предках, об их деятельности во имя веры, об их муках, принятых от врага, и победах, одержанных над врагом, об их высокой нравственности и доброте, обо всем, что очищает и возвышает душу человеческую».

Интересно письмо Дмитрия Кипиани к Григолу Орбелиани, посланное из Петербурга и относящееся приблизительно к этому же времени! «Меня могут не понять, многие и не по-

верят, но вы, мне кажется, легко согласитесь со мной, что земля моей родины, друзья и понятия, воспринятые с юности, воздух, которым я с наслаждением дышу уже сорок пять лет, наши искренние и дарящие радость отношения, наши привычки, нравственность, воспитанность и другие многие качества, которые нигде не встретишь, кроме как дома, — все это так ценно и дорого, что тот, кто хоть чуточку сохранил способность чувствовать, никогда не откажется от всего этого по собственной воле, если, конечно, не заставят отказаться силой. Бога ради, что могут мне обещать такого, чтобы я согласился лишиться всего этого?.. Боже сохрани меня от разлуки с Грузией... Я снова возьмусь за плуг, накину бурку и ни за что не тронусь с места».

В этих словах Димитрия Кипиани четко выражены его нацисральные убеждения, измена которым для него была равносильна смерти. Поэтому не удивительно, что проводившейся в 80-е годы в Грузии с особым цинизмом русификаторской политике наряду с Ильей Чавчавадзе противостоял Димитрий Кипиани. Его спор с уездным попечителем образования Яновским имеет принципиальное значение для грузинского общества. «Да, мы подданные России, но в то же время мы — грузины, — думал Кипиани. — Мы хотим выйти на культурную арену именно как грузины. Но это возможно лишь в том случае, если будут существовать грузинские общественные учреждения, а в школах и церквях — звучать грузинский язык. Если этого не допустят, наше национальное достоинство будет оскорблено, а если будет оскорблено наше национальное достоинство, будет оскорблено и чувство нашей преданности престолу. В то время невозможно было более широко ставить этот вопрос» (А. Джорджадзе).

Все же что волновало Д. Кипиани, что тревожило его? Дело в том, что «педагог» Яновский, всячески поддерживаемый официальными властями, развивал следующую мысль — грузинские дети должны получать начальное образование на русском языке, и педагоги, не разделявшие эту точку зрения, прямо назывались «глупцами». Д. Кипиани сразу же понял, какими опасностями для грузинской нации чревата эта «теория», и немедленно взялся за перо. Конкретным поводом для его выступления послужило опубликованное в газете «Дрозба» открытое письмо некоего С. М-и, содержащее критику педагогической системы Яновского. Статья произвела на Д. Кипиани такое сильное впечатление, что он публикует в той же газете свой отклик на нее.

«Открытое письмо С. М-и ужасно, как крик несправедливо испорченного чувства, стон встревоженного сердца... Посмотрим правде в глаза и с подбавающим нам долготерпением и сознательностью трезво обсудим это дело, которое такого рода, что непременно окажется постыдным либо для одной стороны, либо для другой. Разве нет другого выбора? Автор письма говорит, что собранию учителей, состоявшемуся в Кутаиси, было наказано в сельских школах начинать обучение русскому языку с первого же класса... Кроме того, Б. Яновский выразил негодование сенакской сельской школой; там не учат детей русскому, там, мол, преследуют какие-то иные цели, но не педагогические... Мы с полным правом можем спросить г-на Яновского: разве знание грузинского языка помешало героям-грузинам прославить себя и русское войско как в далекие времена, так и во времена более близкие?.. И это так, пока будет сохраняться наша народность (т. е. национальность). А народности (национальности) без языка — нет. И какой язык хотят уничтожить? Язык, на котором говорили Вахтанг Горгасали, Давид Строитель, царица Тамар, язык, на котором проповедовали Нино и сирийские отцы, на котором писали такие поэты, как Шота Руставели, такие философы, как Петрици, такие законодатели, как царь Вахтанг, язык, который имеет простейший и естественнейший алфавит... понимаете ли вы, чем грозит эта ваша проповедь? Чингиз-хан, Тимур-Ленг, Шах-Аббас, Надир-шах не смогли уничтожить наш народ, а вы, которым мы доверились по собственной воле, с любовью и надеждой, вы пытаетесь сделать это?!»

Д. Кипиани обращается к истории, памяти предков. Эта память — в какой-то степени любованье собой, поддержка самого себя и, если угодно, угроза. Только подумайте: шах-аббасы ничего не смогли с нами поделаться, а вы уж тем более. Эта угроза — свидетельство тому, что воля Д. Кипиани уже направлена на защиту не узких сословных интересов, а национального дела в целом. В то время наше дворянство еще верило в силу т. н. «словесного протеста», и Д. Кипиани в этом отношении не составлял исключения. Впрочем, это было естественно: когда народ подвергается насилию, иная политика невозможна...

Однако Яновский не унимался, и на страницах «Кавказа» печатал статьи в защиту своей позиции. По поводу одной из них Д. Кипиани снова вступил с ним в полемику и напомнил о системе обучения воронцовских времен, приведя, между прочим, такой факт. В одном из тбилисских учебных заведений

училась дочь барона Врангеля. В те времена обучение грузинскому языку было обязательным для всех без исключения. Врангель обратился к Воронцову с просьбой освободить его дочь от уроков грузинского. «Случайно, — пишет Д. Кипиани, — я оказался свидетелем их разговора. «Дорогой барон, — сказал Воронцов, — если вы полагаете, что вашей дочери придется жить не здесь, а где-нибудь в центральной России, почему вы не определили ее в Полтавское, Киевское или какое-нибудь другое учебное заведение?» Так было во времена Воронцова. Сейчас же грузинскому языку не учат не только негрузин, но и нас, грузин, отторгают от родного языка и создают всяческие препятствия, чтобы не допустить этого».

«Осквернение национального языка есть осквернение святая святых народа. Грузины не заслужили подобного отношения. Не надо забывать, что Грузия — непокоренная страна. Грузины вошли под покровительство русского монарха сознательно и добровольно» (А. Джорджадзе).

Непокоренная страна... С этой верой, с этой иллюзией Д. Кипиани будет жить и работать еще некоторое время, являясь вдохновителем и организатором многих национально-общественных начинаний, среди которых — основание Общества по распространению грамотности среди грузин, Театрального общества, Дворянского банка и многих других, но к концу жизни его вера развеется, мечты разобьются. Приблизительно к этому времени относятся горькие слова, сказанные «гордым генералом» Гр. Орбелиани на смертном одре: «Я постарел, а счастья не дождался, пала моя Родина, отчаяние убивает меня, я с горечью схожу в могилу». К чести Д. Кипиани надо сказать, что уже в преклонном возрасте, семидесятитрехлетним старцем, он дал еще один бой поработителям своей Родины.

В 1884 году в Грузию приехал новый экзарх, первосвященник Павел. Реакционный дуэт Дондукова-Корсакова и Яновского получил весомое пополнение, и таким образом составился роковой триумвират, поставивший своей целью искоренение грузинской национальной идеи. В то время Д. Кипиани еще верил, что самодержавие способно удовлетворить минимальные требования грузин: церковная служба и школьное обучение — на грузинском языке.

Такова была позиция Д. Кипиани в его споре с пресловутым триумвиратом, но он «упустил из виду тот факт, что государственный национализм господствующей нации обязательно будет сталкивать между собой малые нации, живущие в

этом государстве, что это закон и основная черта воинствующего национализма» (А. Джорджадзе). Притеснение грузин в Тбилисской семинарии к тому времени приняло небывалый размах. Д. Кипиани настойчиво обращал внимание главного управляющего на то, что в семинарию, которая была основана для грузин, грузин уже не принимают. С сокращением числа учащихся-грузин вводился запрет на грузинский язык. Ректором семинарии был некто Чудецкий, которого убил семинарист Иосиф Лагнашвили. Это — первое в Грузии политическое убийство, вызванное репрессиями и антигрузинской политикой.

Естественно, правительство было в гневе, а экзарх Павел выразил свою ненависть к пастве тем, что на похоронах Чудецкого проклял грузинский народ, породивший убийцу.

Общественность была в растерянности, в сердцах поселился страх. Казалось бы, ждать спасения было неоткуда, но и на этот раз Димитрий Кипиани возвысил свой голос в защиту нации. Вот что он писал в письме к экзарху Павлу:

«Ваше святейшество! Окажите свою архипастырскую милость, и если, введенный в заблуждение невероятными слухами, я грешу перед вами, простите мне мое великое прегрешение. Говорят, вы проклинали народ, которому призваны быть пастырем и который ничего, кроме любви, милосердия, не ждал от вас, служителя и представителя Христа.

Те же слухи, не удовлетворяясь оскорблением вашего достоинства, доводят до нашего сведения ваше намерение извиниться перед паствой за те греховнейшие слова, которые вы якобы изрекли.

Если все это, владыко, истинно, спасение достоинства вашего поста возможно лишь в том случае, если осквернитель немедленно покинет оскверненную страну. Я, один из вашей паствы, говорю об этом от чистого сердца, желая уберечь страну от нового великого греха.

Но если все это ложь, простите мне и благословите своей архипастырской рукой.

Покорный слуга вашего святейшества

Димитрий Кипиани

8 июня 1886 г. Хашури».

Это был смелый вызов! Д. Кипиани замахнулся на режим, который из-за одного конкретного факта не пощадил весь народ. Как известно, Д. Кипиани был чиновником высокого ранга, всю жизнь служившим престолу, поскольку верил, что царское самодержавие было защитником законных прав

Грузии, но к концу своей жизни он уже не сомневался, что все это слова, что от Грузии ничего не требовалось, кроме рабской покорности; над понятием патриота измывались и стойко противостояли всему тому, что мешало политике обрусения. Этому Д. Кипиани стерпеть не мог. Следует отметить, что спор с экзархом не был событием локального характера, точно так же, как и вероломное убийство Д. Кипиани в Ставрополе агентом царского самодержавия. С этого времени начинается процесс горького разочарования грузинской интеллигенции в политике царского самодержавия, приведший ее, в конце концов, к отрезвлению и активным действиям против него.

Но какова была судьба самого Дмитрия Кипиани?

Его немедленно лишили звания предводителя имеретинского дворянства и в возрасте 73 лет сослали в Ставрополь. Акакий Церетели вспоминал: «За несколько дней до его отправления я навестил его в Квишхети. Веселое выражение его лица изумило меня. «Начал жизнь с заключения и кончаю ее заключением», — со смехом сказал он, и увидев постное мое лицо, добавил: «Не завидуй этой милости, оказанной мне Богом! О лучшем я и помыслить не мог! Вот уже сто лет, как грузины за свои дурные дела ссылаются в Сибирь, но идейно еще никто не страдал, так пусть я буду первой ласточкой! Правда, первая ласточка иногда погибает от морозов, не дожидается весны, но тем не менее она первый вестник радости: весна все равно наступит!» — сказал он и задумался».

Он действительно напроорочествовал свою судьбу. Там, в Ставрополе, его убили!.. Разбили голову, которая жила заботами Грузии. Сложили остывшие руки на сердце, которое билось ради родины. Кто? Зачем? Нет никакой необходимости задумываться об этом, когда знаешь, за что! Будущее в этом лучше нас разберется. Сегодняшний мятеж, правда, пока еще слишком слабый, — признак пробуждения народа, порука тому!

Именно о таких исполинах, каким был покойный Дим. Кипиани, говорится: «Он пришел в этот мир и принес ему много пользы».

Вышесказанное, наверное, объясняет, почему грузинский народ нарек Дмитрия Кипиани национальным героем. Объясняет и то, что грузины вчера и сегодня одержимы одной болью, руководствуются одними интересами. И потому Дмитрий Кипиани — не принадлежность истории, а наш современник, плоть от плоти, кровь от крови нашего сегодняшнего дня.





Георгий ПАЙЧАДЗЕ

# Голос из дали веков

(РУССКИЙ ИСТОРИК ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА  
В. Н. ТАТИЩЕВ О ГРУЗИИ И АБХАЗИИ)

Автор фундаментального труда «История Российская», а также работ по географии России, крупнейший русский историк XVIII века Василий Никитич Татищев (1686—1750) в ходе освещения российской истории в некоторой степени коснулся и отдельных вопросов, связанных с другими странами и народами, в том числе и Кавказа. Отсюда и содержащиеся в его трудах сведения о Грузии и Абхазии, представляющие определенный интерес как материал, отражающий историю русского кавказоведения, и, в частности, грузиноведения.

Общеизвестно, что В. Н. Татищевым были широко использованы многие первоисточники, включая и письменные, относящиеся как к античности, так и к средневековью. Рассматривая труды древних греческих и римских авторов с точки зрения интересующей его проблематики, ученый закономерно затронул и терминологию, употребляемую в античную эпоху применительно к странам и народам Кавказа. В ряде случаев он дал и свою интерпретацию некоторых проблем, постарался объяснить ряд особенностей и т. д. Все это, несомненно, достойно нашего внимания во многих отношениях.

Прежде всего, труды В. Н. Татищева свидетельствуют о степени его знакомства с работами авторов классической и средневековой эпохи, а его рассуждения отражают уровень развития русской историографии в первой половине XVIII века. Далее, они указывают на процесс зарождения русского кавказоведения. И, наконец, представленный ученым материал носит не только историографический, но и сугубо источниковедческий характер, так как в определенной мере может быть использован в качестве первоисточника, поскольку отражает обстоятельства, наличествовавшие в его эпоху; иными словами,

он фиксирует положение вещей в период с конца XVII до середины XVIII века.

Сведения о Грузии и Абхазии, которые мы находим в его трудах, рассматриваются в данной статье в той же последовательности, что и у автора — то есть по хронологическому принципу, но с некоторыми склонениями в зависимости от тематики.

В девятой главе первой части «Истории Российской, названной «О происхождении, разделении и смешении народов», В. Н. Татищев, отмечая стремление разных народов уяснить имена своих праотцов на основании данных Библии, короче, установить эпонимы, в качестве одного из примеров ссылается на грузинскую летопись. Он пишет: «В грузинской истории сказуется: Междо детьми Ноя при разделении земель Картлосу досталось часть к северу, которую он в свое имя назвал Картли (как она доднесь зовется) и оную 6-ти сыном своим разделил, коих имяна: 1) Мхетос, 2) Кахос, 3) Бардос, 4) Кавказос, 5) Лезгос и 6) Егрос, и каждый свою часть во свое имя назвал, яко от Мхетоса Мингрели, от Кахоса Кахети, от Бардоса Кабарда, от Кавказа Кавкази или Дагистань, от Лезгоса Лезгистань, от Ергоса Ерзерум и пр. О таком вымысле в примечании на Иосифа Флавия, кн. I, гл. 6, Германин свою критику объявил» (8, 129).

В этом отрывке обращает на себя внимание факт знакомства русского историка с версией грузинской летописи о Картлосе как праотце грузин, с именем которого связываются как название страны — Картли, так и название народа — картлийцы (по-русски одно время ошибочно писали карталинцы). Хотя следует отметить имеющее место в приведенной цитате расхождение с данными грузинской летописи «Картлис цховреба». Так, в перечне имен некоторые из братьев Картлоса ошибочно значатся в числе его сыновей. А старший сын Картлоса — Мцхетос назван Мхетосом, что, по всей вероятности, объясняется трудностью произнесения для русского человека подряд трех согласных звуков «мцх», характерных для грузинского языка. На это же указывает и написание имени Мцхетос как Мыхетос в одной из рукописей В. Н. Татищева (11, 53). Кстати, в его трудах имеются и другие расхождения с грузинской летописью. Он явно допускает ошибки, считая, что название Мингрелия происходит от имени Мхетос. Производные и некоторых других названий нельзя найти в тексте грузинской летописи. Что могло послужить источником для подобных ошибочных высказываний, сказать трудно. На

каком основании, например, происхождение названия Ерзерум он ведет «от Ергоса»? Но дело не в этих ошибках. Суть в том, что В. Н. Татищев, как видно из его трудов, был информирован о версии грузинской историографии о Картлосе как эпониме страны Картли, которая, как подчеркивается им, данным именем и «доднесь зовется».

Это обстоятельство вызвало у грузинских исследователей стремление выяснить источник информации, которым он пользовался. В. Н. Габашвили высказал предположение, что сведения о Картлосе В. Н. Татищеву мог сообщить грузинский ученый Вахушти Багратиони, который в 1724 году вместе со своим отцом Вахтангом VI, потерявшим картлийский престол, выехал в Россию (1, 89). Не отрицая этого предположения, Г. И. Зардалишвили придерживается мнения, что о Картлосе русскому историку мог сообщить брат Вахушти Багратиони, другой сын Вахтанга VI, царевич Бакар, который тоже выехал в Россию в составе многочисленной свиты своего отца (1200 человек) (2, 148). В данном случае Г. И. Зардалишвили сослался на биографа В. Н. Татищева Н. А. Попова, писавшего о его встречах с грузинским царевичем Бакаром (6, 434).

Оба предположения вполне логичны и не взаимоисключающие.

Относительно же концовки вышеприведенной выдержки из труда В. Н. Татищева, в которой говорится, что «...о таком вымысле в примечании на Иосифа Флавия, кн. I, гл. 6, Германн свою критику объявил», необходимо дать следующее пояснение.

Судя по тексту в начале девятой главы рассматриваемого труда, автор его вообще осуждает попытки найти эпонимы различных стран и народов. В числе зачинателей традиции их поиска он называет вавилонского историка Берозуса (Бероса, 350—280 гг. до н. э.) и Иосифа Флавия, жившего в 37—95 годах. В приведенной же цитате В. Н. Татищева подчеркивается, что Германн уже подверг критике соответствующее место из труда Иосифа Флавия, в частности 6-ю главу его первой книги. Германн — это не кто иной, как Гедерих Вениамин, работами которого пользовался В. Н. Татищев.

Поскольку речь зашла о труде Иосифа Флавия, следует напомнить, что в шестой главе его первой книги «Иудейские древности», там, где говорится о расселении потомков Ноевых и о происхождении имен различных народов, упоминаются также «иверияны» и «мосхи». К мосхам проявили интерес многие

древние и средневековые авторы. Можно сказать, что В. Н. Татищев некоторым образом даже коснулся историографии этого вопроса. В «изъяснении» к главе пятнадцатой «Сказания Клавдия Птолемея Александрийскаго» (первая часть труда) он отмечает, что упомянутые у Птолемея «Мосхнев горы есть отного Кавказских, простирающаяся к востоку чрез Грузию к Персии. Аракс река, ныне Арас, текущая в Куру. Кирус, или Цырус, ныне Кура, текущая от юга в Каспийское море» (8, 179).

В вариантах же примечаний ко второй части «Истории Российской» читаем: «О мосхах же Страбон в книге Географии сказует: «Мосхи с королевством Колхинским граничат». Помпоний Меля, в 3 книге Географии, Мосхнев горы кладет над морем Гирканским. Плиниус второй мосхов в Кападокии или Армении, в 6 книге гл. 10, по реке Ибер, которая течет в Кир (ныне Кур). Далее Луканус, кн. 3, Фарсалиа: ...«Мосхи со сарматами граничат». Иосиф Жид, в Древностях жидовских, кн. I, гл. 11, мнит, что мосхи от Афетова сына Мосоха произошли. Птолемея, в книге 5, гл. 9 и 13, говорит: «Модоки — народ в Азиацкой Сармации». Поссидус Аполинариус в своих виршах два раза сарматов и мосхов, яко смежных, упоминает. И по сим довольно видимо, что мосхи сарматы прежде жили около моря Каспийского; потом перешед, жили в сих местах около реки Москвы, от которых остатки или от реки Мокши мокшане названные, сарматы и до днесь в Руси знаемы» (9, 317).

Подробнее с вопросами исторической географии, политической истории и этногенеза мосхов-месхов заинтересованный читатель может познакомиться в работе Н. В. Хазарадзе «Этнополитические проблемы древней истории Грузии (мосхи)», Тбилиси, 1984 (на грузинском языке, резюме на русском и английском языках).

В. Н. Татищев резко осуждает некоторых польских историков, в частности хрониста Матвея Стрыковского, за попытку связать происхождение названия Москвы, Московии и московитов с мосхами. В тридцатой главе — «Русь, Рутени, Роксания, Роксалания и Россия» — первой части труда В. Н. Татищева по этому поводу значится следующее: «Последнее имя Москвиа, Москов, москали, також весьма недавно от поляк произнесенное, и от других за неведением было приято. Причина сему есть злость и зависть поляков. Когда Руссия от татар (т. е. татаро-монгольского нашествия — Г. П.) разорена и в безсилие приведена была, наипаче русские князи вме-

сто согласия на неприятеля сами им на своих помогали, тогда литва, из лесов вышед и прежняго подданства руского отрекшись, с князем их многие города руские, а потом чрез много лет Червонную Русь, Волынь и всю Малую или просто Русь овладев, сами князи руские, а по соединении с Польшою королями рускими писаться стали, о чем Стрыковский поляк точно говорит. И хотя то свое насилие утвердить, а славу рускую и честь государей умалить, великим князем руским надлежащей от древности титул дать не хотели, равняя их с удельными князи, по Москве граду престольному московскими имяновали, чего мы никогда не принимали. Потом как они сего силою удержать не могли, то они употребили лестное коварство ко прельщению, стали в гисториях выводить, якобы сие имя, от Мосоха сына Афетова происшедшее, есть старее, нежели от Росса, у Езекия, как Кромер, кн. I, гл. 10, Стрыковский, кн. 4, гл. I, Бельский стр. 14. Но сия басня наиболее тем отвергается: 1) В сынех Афетовых хотя в семидесятном переводе положено в Бытии Мосох, но Героним и другие в библиах, яко же Иосиф Флавий в Древностях еврейских, кладут Месех и в семидесятой и Езекии гл. 38, Месех. 2) Что Стрыковский народы модоков, амаксобитов в утверждение приводит, то весьма неправо, ибо имена греческие, и Плиний точно их к сарматам прилагает... 3) Что ни государи, ни народ обсче никогда оного не употребляли, да в древности и употреблять не было причины, ибо Москва в 1146-м году построена, а народа в Руси подобнаго именем по истории не упоминается... москвичи, равно как новгородцы, псковичи, резанцы и пр. имянуются, но обсче всех есть Русь, или Россия» (8, 288—289).

Название города Москвы В. Н. Татищев связывает с названием реки Москва. Данное слово по происхождению он считает сарматским, а по смыслу допускает двойное объяснение. С одной стороны, усматривает в этом слове понятие «крутящаяся или искривленная», так как река «течением весьма излучины делает» (9, 270—271), а, с другой стороны, связывает слово с понятием болото: «можно думать, от болот в верховии реки сея Болотная названа» (9, 317).

Об этом же он довольно подробно пишет и в тридцать третьей главе «Славяне от чего, где и когда названы» в первой части «Истории Российской» (8, 312—314).

Из трудов авторов античной и средневековой эпохи ему было известно, что на территории Грузии в древности существовали страны и государственные образования Колхида (Колхис, Колхини, Колгини) (8, 287, 314, 317—320; 9, 25,

317), Лазика (8, 185, 192), Мосхика (8, 314), Картли (Кардуель, Каргуель, Кардиель) (8, 129, 186), Иберия, Иверия (8, 168, 314), Кахети (8, 129), Грузия (9, 231, 308), где проживали племена и народы с соответствующими этим странам названиями. Например, колхи, лазы, иберы и т. д.

В. Н. Татищев различает Восточную и Западную Грузию. Восточная ему известна под названием Грузии, а также Иберии, Иверии и Георгии, где находятся Картли и Кахети. Интересно толкование термина «Грузия», которое он дал в одной из своих работ по географии «Введение к историческому и географическому описанию Великороссийской империи»: «Грузия — мы зовем Грузия, а персы Гуристан (должно быть Гурджистан — Г. П.) Народ особого языка, имеют сходство с черкесы, веры христианской, греческого исповедания, и хотя они собственного владельца имеют, однако ж он дань Персии дает и монархов российских за государя своего почитают. Главный город у них Тефлис» (7, 176).

Ясно, что в данном случае конкретно подразумевается Картлийское царство XVII — начала XVIII веков. Историкам хорошо известно, что в Восточной Грузии существуют и Картли, и Кахети, а народ в этническом отношении один — картвелы.

В шестнадцатой главе первой части «Истории Российской», озаглавленной «Из Константина Порфирогенета о Руси и близких к ней пределах и народах, собранное Сигфридом Беером», говоря о дагестанских народах и в частности о лезгинах, ее автор делает следующее пояснение: «Грузинцы объявляют, что в древние времена лезгийцы по самый Понт Эвксинский жили, потом, выгнаны от каргуелцов (или грузинов в Каргуеле провинции, которую наши обыкли называть Кардуелем), в горы ушли» (8, 186).

Конечно, это пояснение явно ошибочно, так как лезгины никогда не проживали на территории, доходящей до Черного моря, и грузинами не изгонялись со своих мест. Тут скорее всего речь могла идти о том, что лезгины (или дагестанцы), совершая вторжения, набеги и т. д., часто доходили до самого Черного моря и не раз под натиском грузин были вынуждены возвращаться к себе в горы. Но здесь важнее для нас не приведенные сведения, а термины «каргуелцы», «Каргуел» и «Кардуел», употребляемые по отношению к грузинам и Грузии. Заслуживает внимания и объяснение, данное В. Н. Татищевым по поводу понятия «каргуелцы» в «изъяснении» к этой же главе: «Каргуелцы. Так их дагистани, а мы грузинцы,

германе имянуют георгиане, персиане гурген, а сами зовутся картли» (8, 202).

Как видим, здесь прямо сказано, что грузин, которые «сами зовутся картли», дагестанцы называют «каргуелцами» (т. е. картвельцами, от «картвели»), русские же зовут их «грузинцами», немцы — «георгианами», а персиане — «гурген» (т. е. гург, гурджи).

Западная Грузия XV—XVIII веков известна В. Н. Татищеву под названием Милитии, Милитинии, что является искажением грузинского названия Имерети (т. е. Западной Грузии), где существовало Имеретинское царство. Он неоднократно подчеркивает, что «Колхис, ныне Милитиниа» (8, 314).

Самегрело (или Мегрелия) ему известно под названием Мингрелии. Он воспринимает ее как составную часть Западной Грузии, на чем не раз акцентирует. В «изъяснении» к 22 главе, к примеру, сказано: «...Колхис, ныне Мингрелиа, или Милитиниа» (8, 146). А в «изъяснении» к 16-й главе утверждается: «Фазис и Фаш река и крепость во многих как Птоломеевых, так и новейших ландкартах в Мингрелии или Милитинии находится, где турки ныне имеют плодбисче, или верфь, для строения судов морских. Турки имянуют Фаш, а милитины Рионе, древнее звание Арктурус» (8, 202).

Касаясь древнего периода истории Западной Грузии, ученый сопоставляет сведения, приводимые Геродотом, Аррианом, Прокопием Кесарийским: «Многие он (т. е. Арриан — Г. П.) народы в Колхиде положил, между которыми лазы и с лазами пограничные апсилы, с апсилами ж порубежные абазги, с абазгами ж сопредельные саниги к самому городу Диоскуриаде, который тогда Севастополем назывался...» (8, 185). Во время же Геродота, говорит В. Н. Татищев, «лазийцы по Меотису жили, то оттуда имоверно, что они отшедши к Понту почти на тех местах поселились, где в здешней моей карте есть Зихиа, потом же, выгнавши колхидцов, к Фазису отошли. В Пеутингеровой ландкарте там лазы вписаны, где в здешней нашей карте есть Зихиа. Кажется, что автор древнюю Лазику в уме имел, ибо во время Плиния, на котораго перваго свидетеля о том деле слаться можем, и потом, как от византийских писателей довольно явствует, во многия веки в Колхиде до Фазиса жили лазийцы, не говоря, что при Феодосии императоре, в котораго веке, по мнению Марка Велсера, Пеутингера ландкарта издана; там же в Колхиде, как они жили, то для того Прокопий Кесарийский, О войне французской, кн. IV, гл. I, говорит, что лазийцы древние колхидцы

суть; но как почтеннейший есть своего века автор Проконий, так о древних мало годный свидетель. Колхидцы, по объявлению Геродота, в самом языке своем египтянчину имели, явное египетского первоначалия доказательство, к тому ж имели и иное от египетского обычая, которое хотя не так к познанию египетского отродия способно, однако ж к оной преждней причине прибавлением есть. Но, как я выше говорил, лазийцы, между савроматами в геродотовом веке описанные, поздно в Зихию вошли, а еше позднее в Колхиду, по тому ж они не колхидцы, так и франконы не французы были» (8, 185).

Конечно, в этом фрагменте из книги русского историка, как и в других, которые будут приводиться далее, сегодня многое выглядит и неверно и наивно, требует соответствующих разъяснений, которые увели бы нас слишком далеко. С достижениями же современной историографии по данной проблематике можно познакомиться в монографии Г. А. Меликишвили «К истории древней Грузии» (Тбилиси, 1959), и в «Очерках истории Грузии», т. I (Тбилиси, 1989).

Ссылаясь на сведения Константина Порфирогенета, В. Н. Татищев пишет, что Константин «выше лазийцев к северной стороне полагает абазгов и апсилов, потом зихийцов, впрочем папагийцов после казахийцов и выше их Кавказ, выше Кавказа аланов в степных местах. Весь Кавказский кряж, к оному близкие как на юг, так на север и запад поля не так исследованы, чтоб в том не мог я ошибиться, что Менгрелия при Понте Эвксинском очень равна быть кажется; Кавказскими же к северу и югу горами заключена. Я вижу, что сие утверждает Арриан, ибо он, от Трапезонта Каспийские берега обходя, часто выход имел к Диоскуриаде, потом и Астелефу. «Недалеко от Диоскуриады, говорит он в Перипле Понта Евксинского стр. 12, видели мы Кавказ гору в такой величине, как Альпийские Целтические горы, и нам некоторый верх Кавказа показался» (8, 186).

Продолжая анализировать сведения, содержащиеся в труде Константина Порфирогенета, историк приходит к выводу, что «в тогдашнем веке между Никопса и Сотериополя абазги и апсилы народы жили, у Константина, стр. 114, как о том все согласны, что оба того же корпуса. Я верю, что абазги тот народ, который ныне называется авхази. Многие между ими находятся христиане, которые во священнослужении грузинского языка употребляют» (8, 188).

В «изъяснении» же к этой главе находим такое положение



ние: «Авхази, авхаши, ахейцы, мню, едино...» (8, 203). А чуть выше дается следующее пояснение: «Ахейцы, по сказанию Страбона, кн. 9, в Колхиде греки населенные и, может, оно ж... авхаши, у Плиния авхети, гл. 14... Наши, может, тоже именовали обезы... Турки и дондсь северную Мингрелию имянуют Авхаз» (8, 202).

Конечно, для отождествления «авхазов» с греками-«ахейцами» нет какого-либо основания, и пояснения В. Н. Татищева следует понимать как предположение. Однако его объяснение страны «Авхаз» и народа «авхазов», безусловно, заслуживает внимания.

Кстати, получившие широкое распространение названия «Абхазия» и «абхазы» (у В. Н. Татищева «Авхаз» и «авхазы») происходят от грузинской формы «Абхазети» и «абхазеби» (корень «абхаз», а «ети» и «еби» окончания), которая, в свою очередь, произошла от племенного названия «абазги». Сами же абхазы называют себя «апсуа», а страну «Апсны», что происходит от племенного названия «апсилы».

Итак, В. Н. Татищев осведомлен относительно того, что в древней Колхиде проживали многие народы, среди которых были лазы, а также пограничные с ними «апсилы» и «абазги», и еще «сопредельные» абазгам «саниги к самому городу Диоскуриаде». Диоскурия была расположена там, где ныне находится город Сухуми (3, 65—66).

Он дважды отмечает, что «абазги» — это «авхази», «авхазос», которых в древности на Руси называли «обезами». В этом отношении большой интерес представляет одно из пояснений в «изъяснении» к четырнадцатой главе первой части «Истории Российской» — «Сказание Плиния Секунда Старейшаго». Комментируя текст с упоминанием «авхети» («от Тавра по берегу внутрь обитают авхети, у которых Гипан (т. е. река Буг — Г. П.) начинается...»), В. Н. Татищев поясняет: «Авхети, мнил бы нынешние Кахети в Грузии область, но она от Черного моря далеко за горами. Паче же мню, часть Мингрелии северная, которую турки и кабардинцы имянуют Авхазос, наши древние именовали Обезы... Ныне оной большую часть кубанцы наполняют... Плиний же здесь весьма ошибся, что реку Гипан тамо положил, по которой... Мартиние равномерно погрешил, сказуя Авхеть в Украине русской» (8, 171).

Как видим, подвергая критическому анализу сведения рассматриваемых источников, автор «Истории Российской» в ряде случаев приходит к весьма правильным заключениям. Относительно же положения современной ему Абхазии, весьма

примечательна его фраза о том, что «большую часть» ее «кубанцы наполняют». Эти слова, очевидно, надлежит понимать как отражение реальности той поры — процессов переселения в Абхазию с севера адыгских и других племен.

Наряду с этим В. Н. Татищев констатирует и тот факт, что большая часть абхазов исповедовала христианскую религию и богослужение осуществляла на грузинском языке.

Эти сведения абсолютно достоверны. Они подтверждаются целым рядом других источников.

Однако, различая Западную и Восточную Грузию (что было обусловлено существованием в Грузии отдельных царств в XVI—XVIII вв.), историк прекрасно понимал, что Милитиния (Имерети) — это тоже Грузия, и что там государственным языком тоже был грузинский. То есть, он знал, что, несмотря на политическую раздробленность и различные названия отдельных регионов, Грузия была одной страной, а грузины — одним народом. Все это являлось следствием того, что в России в XVII и в начале XVIII века уже были собраны довольно обстоятельные сведения о Западной и о Восточной Грузии в результате, с одной стороны, посещения Грузии (как Восточной, так и Западной) русскими послами, а с другой — поездок в Москву грузинских посольств. Большую роль в знакомстве русской общественности с Грузией и грузинами сыграла создавшаяся в Москве грузинская колония.

Что же касается названия обезы, встречающегося лишь в русских источниках, то В. Н. Татищев совершенно правильно связывает его с терминами абазг и абхаз и в то же время не без основания подразумевает под названием обезы всю Грузию и грузин.

Так, например, рассматривая русские летописные данные о женитьбе киевского князя Изяслава Мстиславича в 1154 году на грузинской царевне, В. Н. Татищев в девятнадцатой главе второй части «Истории Российской» пишет, что в 1153 году «...в осень посылал Изяслав по другую себе жену в Обезы и, получа известие, что будет морем, послал Мстислава со Владимиром Андреевичем и берендеи навстречу мачехе его, а своей обручнице, которые ходили до Олядии и, не найдя, возвратились» (10, 44).

Как видим, здесь говорится о том, что в 1153 году Изяслав, желая вступить во второй брак, посылал сватов в Обезы и, получив известие, что невеста прибудет морем, направил навстречу ей своего сына Мстислава. Но так как в тот год не-

ста не прибыла, то Мстислав и сопровождавшие его лица возвратились.

Далее, касаясь 1154 года, В. Н. Татищев пишет: «Изяслав, великий князь, по смерти первыя княгини искал себе супруги у других государей. И слыша, что царя обезскаго дочь яко лицом, тако нравом украшена, послал в Обезы послов своих в лодях. И получа известие, что уже в устье Днепра с царевною послы прибыли его и царя обезскаго, послал навстречу ей сына своего Мстислава с довольством всяких запасов и дарами, со многими знатными мужи и женами. Мстислав же, встретя оную у порогов, провожал до Киева с великою честью и довольством. И пришедши в Киев, по совершении брака и веселня, Мстислав возвратился в Переяславль» (10, 47).

В сорок шестой главе первой части «Истории Российской», говоря о родословной русских государей, В. Н. Татищев поясняет, что вторая жена Изяслава, на которой он женился в 1154 году, была «из Обез или грузинская княжна» (8, 375).

В примечаниях же он так комментирует термин Обезы: «Обезы в четырех манускриптах точно написано, а в прочих пропущено. Карпеин (так значитя у В. Н. Татищева знаменитый итальянский путешественник XIII в. Плано Карпини — Г. П.) называет георгиан обезы, арт. 5. Грузинцы Мингрелию и весь край к Черному морю против Крыма зовут Авхаз, а Турки оную ж зовут Абаза. Квинтус Курций (древнеримский историк — Г. П.), мнитя, сих же Абаси, а Птоломей город Авхис положил. Страна же оная древле Колхис имянована, а ныне мы зовем Милитиния, другую часть оной Кубанская орда. Абаза же есть владение кабардинское по реке Куме, имя татарское, значит малый народ» (10, 241).

Таким образом, в своих примечаниях В. Н. Татищев акцентирует на том, что название Обезы встречается в четырех манускриптах, а в остальных не содержится, и что у Плано Карпини обезами названы георгиане, то есть грузины. Далее он пишет, что грузины всю Западную Грузию («Мингрелию и весь край к Черному морю против Крыма») называют Авхаз, а страна эта, поясняет он, «древле Колхис имянована, а ныне мы зовем Милитиния». Другая же часть края «к Черному морю против Крыма», указывает он, называется Кубанской ордой.

А термин Абаза, говорит он, по-татарски означает «малый народ» и является владением кабардинским по реке Куме, то есть на Северном Кавказе.

Все эти разъяснения абсолютно верны.

Итак, приведенный материал свидетельствует о том, что термин Обезы наряду с Абхазией В. Н. Татищев распространял и на Грузию. Иначе и не могло быть... Исходя из сведений русских летописей, согласно которым женитьба Изяслава состоялась в 1154 году на царской дочери из Обез, он, очевидно, учитывал то обстоятельство, что в XI—XIII веках Абхазия не представляла собой ни царства, ни княжества, а была провинцией единой грузинской монархии, где царствовали представители династии Багратиони. Поэтому В. Н. Татищеву было понятно, что в данном случае в русских летописях под термином Обезы разумелась Грузия и грузины. И тут он не случайно счел необходимым сослаться на Платона Карпини.

Использование в русских исторических источниках термина Обез в смысле Грузии и грузин полностью соответствовало бытовавшей в XI—XIII веках в странах Ближнего Востока традиции употребления названия Абхазия применительно к Грузии.

Это объясняется тем, что в Грузии ее Западную часть одно время было принято именовать Абхазией по названию существовавшего в IX—X столетиях Абхазского царства, сложившегося в конце VIII века после упадка западногрузинского Эгрисского царства, в состав которого входила и собственно Абхазия.

Для полной ясности — маленький экскурс в историю этого вопроса.

Согласно грузинским письменным историческим источникам (а они являются основными по истории средневековой Абхазии, поскольку собственно абхазской письменности не существовало, она появилась лишь в конце XIX века), абхазский князь Леон II в 80-х годах VIII века при поддержке грузинского населения Западной Грузии сумел осуществить ее политическое объединение. Он принял титул царя абхазов и перенес свою резиденцию из Анакопии (ныне Новый Афон) в Кутаиси. Новое западногрузинское государство стало называться Абхазским царством. В основном его население было грузинским (карты, мегрелы, сваны), определенную часть составляли абхазы, входили в него также другие народности и племена Кавказа. Основным языком письменности и культуры во всем Абхазском царстве являлся грузинский. Название же нового грузинского государственного образования в Западной Грузии — Абхазского царства произошло от названия князей Абхазии, выступивших в роли объединителей Западной Грузии.

Окрепнув, Абхазское царство в IX веке сумело достичь и независимости западногрузинской церкви от Константинопольского патриаршества. Глава западногрузинской церкви — Абхазский католикос, местопребывание которого находилось в Бичвинте (Пицунда), по церковно-иерархической линии был подчинен восточно-грузинскому (Мцхетскому) католикосу. В связи с этим богослужение в церквях Западной Грузии вместе с греческого стало вестись на грузинском языке. Подробнее со всем этим можно ознакомиться в труде М. Д. Лордкипанидзе «Политическое объединение феодальной Грузии (IX—X вв.)» (на грузинском языке), Тбилиси, 1963. Вопросы этнической ситуации в Абхазском царстве и значение города Кутаиси как центра этого государства обстоятельно освещены в «Вопросах истории Грузии» (кн. VIII, Тбилиси, 1975, на грузинском языке) Н. А. Бердзенишвили и в «Основных вопросах исторической географии Грузии» (кн. II, Тбилиси, 1980) Д. Л. Мусхелишвили.

Другим сильным государством в юго-западной части Грузии было Тао-Кларджетское княжество, возникшее в IX веке, во главе которого утвердился род Багратиони. Наивысшего расцвета это княжество достигло при Давиде III (умер в 1001 г.). В 975 году он добился утверждения правителем Картли своего приемного сына Баграта III, происходившего из рода тао-кларджетских Багратионов, а по материнской линии приходившегося племянником абхазскому царю Феодосию. В 978 году Баграт III Багратиони занял уже и престол Абхазского царства. Усилившись таким образом, он сумел подчинить своей власти значительную часть Грузии и стал первым царем объединенного Грузинского царства.

Таким образом, Абхазское царство являлось сильным грузинским государственным образованием, сыгравшим определенную роль в политическом объединении феодальной Грузии. Поэтому не случайно в полной титулатуре царей объединенной Грузии на первом месте значился титул царя абхазов, а затем царя картвелов, царя кахов и т. д.

Как верно отметил З. В. Анчабадзе, термины Абхазия и абхазы в VIII—XIII веках имели тройное значение. В одном случае они подразумевали собственно Абхазию и абхазов в узком смысле, в период же существования Абхазского царства в IX—X веках использовались в качестве названия всей Западной Грузии и ее населения, а после создания единого грузинского феодального государства, то есть объединения всей Грузии (с XI века), иногда распространялись и на всю Грузию

и в течение определенного исторического периода вообще являлись синонимами понятий грузин (картвели) и Грузия (Сакартвело). Обо всем этом речь идет в книге З. В. Анчабадзе «Из истории средневековой Абхазии (VI—XVII вв.)», изданной в Сухуми в 1959 году (с. 117—121, 171—177).

О значении же русского термина Обез говорится в моей работе «Название Грузии в русских письменных исторических источниках» (Тбилиси, 1989).

В заключение добавлю, — можно привести немало конкретных примеров из византийских, арабских, армянских, иранских, турецких и иных источников IX—XV веков, когда термин абхазы употреблялся для обозначения всей Грузии и грузин.

В. Н. Татищев же был одним из первых авторов в русской академической историографии, который коснулся вопросов истории Грузии и Кавказа.

Весь приведенный здесь материал, думается, весьма наглядно свидетельствует лишь об общности исторических судеб грузинского и абхазского народов, и пользоваться им для противопоставления и натравливания их друг на друга, как это пытаются делать, мягко говоря, недоброжелатели этих народов, просто недопустимо.

## ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Габашвили В. Н. Вахушти на фоне европейской историографии XVII—XVIII вв. «Анналы», — Труды Института истории имени И. А. Джавахишвили АН Грузинской ССР, Тбилиси, 1947 (на груз. яз.).
2. Зардалишвили Г. И. Грузия в трудах В. Н. Татищева. — Журнал «Мнатоби», 1961, № 10, с. 147—148 (на груз. яз.).
3. Меликишвили Г. А. К истории древней Грузии, Тбилиси, 1959.
4. Очерки истории Грузии, т. I, Тбилиси, 1989.
5. Пайчадзе Г. Г. Название Грузии в русских письменных исторических источниках. Тбилиси, 1989.
6. Попов Н. А. В. Н. Татищев и его время, М., 1861.
7. Татищев В. Н. Избранные труды по географии России, М., 1950.
8. Татищев В. Н. История Российская, т. I, М.-Л., 1962.
9. Татищев В. Н. История Российская, т. II, М.-Л., 1963.
10. Татищев В. Н. История Российская, т. III, М.-Л., 1964.
11. Татищев В. Н. История Российская, т. IV, М.-Л., 1964.



Владимир ЧЕРЕДНИЧЕНКО

# Методы изучения и анализа художественного произведения

## II. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД<sup>1</sup>

Получив толчок к развитию в 30-х годах XIX века, культурно-исторический метод изучения литературы окончательно сложился на европейском континенте в 50—70-х годах прошлого столетия, когда обогащенные идеями Ипполита Тэна стали появляться работы Г. Гетнера и В. Шерера (Германия), Н. С. Тихонравова и А. Н. Пыпина (Россия), Ф. де Санктиса (Италия) и других близких к ним ученых, и просуществовал до первых десятилетий XX столетия (хотя отдельные попытки реанимировать его наблюдались и позже). На рубеже двух столетий выдающимся представителем культурно-исторического метода выказал себя исследователь испанской и латиноамериканских литератур М. Менендес-и-Пелайо (Испания).

Культурно-исторический метод исподволь подготавливался всем предшествующим ходом развития общества, в котором постепенно вызревали идеи историзма, каузальной связи явлений, необратимости эволюции и научного прогресса. Большую роль в кристаллизации культурно-исторических идей сыграл подъем национального самосознания в большинстве развитых стран Европы, а также процесс усилившейся социализации художественной литературы. Можно выделить и ряд конкретных факторов, оказавших непосредственное влияние на

<sup>1</sup> I раздел данной статьи см. «Л. Гр» № 9 (1990 г.).

формирование метода: 1) культурологические изыскания И. Гердера; 2) философия языка В. Гумбольдта; 3) позитивизм О. Конта и Д. С. Милля; 4) французская историография Ф. Гизо, и др.; 5) теория романтизма (Новалис, А. Шлегель и др.); 6) биографический метод Ш. Сент-Бёва; 7) расширение путешествий и международных контактов.

Из всех перечисленных факторов наибольшего внимания, на мой взгляд, заслуживает предпоследний — ведь именно в русле биографического метода уже в 30-х годах прошлого века\* зародились культурно-исторические идеи, а И. Тэн, введший в научный оборот формулу «раса — среда — момент» и смотревший на искусствознание как на «род ботаники, изучающей не растения, а творения человека», внес вклад не только в развитие биографического, но и культурно-исторического метода на этапе его формирования. В заслугу Тэну обычно вменяют его усилия по созданию корректной методики, приложимой к изучению истории литературы. Как известно, французский ученый опирался на опыт естественнонаучных дисциплин, резко опережавших в своем развитии науки общественные и гуманитарные. Несмотря на некоторые издержки такого подхода (наиболее четко сформулированного Тэном в работе «О методе критики и об истории литературы») требование строгого научного метода для наук гуманитарных остается в силе и в наши дни.

Культурно-исторический метод — метод изучения художественного произведения как, в первую очередь, явления культуры, образования, общественной жизни, нравов и быта определенного исторического периода. Основными чертами метода являются **историзм**, противопоставленный нормативным концепциям XVII—XVIII вв., и **каузально-генетическая направленность**, поиск «всеобщих» закономерностей общественного и национального развития, преломленных сквозь призму художественного творчества. Культурно-исторический метод, игнорируя эстетическую специфику художественного произведения, противопоставлял себя так называемой «эстетической критике», с которой вел длительную и упорную полемику. Невнимание к формальной стороне произведения оттолкнет от него формальный метод.

Примером практической реализации культурно-исторического метода может служить «История всеобщей литерату-

---

\* Первый этап биографического метода датируется 30—50-ми, а не 40—50-ми годами XIX века (см.: Лит. Грузия, 1990, № 9, с. 151).



ры XVIII века» (т. 1—3, 1856—1870) Германа Гетнера. Знаменательна уже сама по себе попытка интеграции ряда европейских литератур XVIII века (английской, французской и немецкой) в единый ансамбль. Несколько десятилетий должно было пройти, чтобы размышления Гёте о «всеобщей мировой литературе» стали реальной задачей. Историю литературы Гетнер понимал как историю идей, а не историю книг или жанров. Для осуществления такого масштабного замысла требовалось существенное расширение узкофилологической точки зрения. И, действительно, интересы немецкого ученого выходят далеко за пределы филологии. Труд вбирает в себя обширный исторический, политический и юридический материал. Чего стоит, например, лишь название одного из отделов второго тома «Регентство герцога Орлеанского и министерство кардинала Флёри»! Однако отсюда вовсе не следует, что культурно-исторический метод опровергал филологический метод (ибо он не мог рубить сук, на котором сидел) — он скорее стремился расширить последний (насколько ему это удалось — вопрос другой). Объективно идея создания общеевропейского труда продвигала литературоведческую мысль вперед — по словам Пыпина, это способствовало достижению «единства европейской науки», а также развитию «общности стремлений в поэзии и искусстве». Выражение главной идеи эпохи или исторического периода немецкий ученый усматривал помимо литературы в архитектуре, живописи, а также в прикладных искусствах и умениях (интерьер, мебель, костюм), что безусловно расширяло возможности культурно-исторического анализа. Следуя примеру Тэна, но скорее всего внутренней логике, Гетнер включает в свою «Историю всеобщей литературы» имена ученых, в значительной степени способствовавших научному прогрессу эпохи — философов Джона Локка и Этьенна Бонно де Кондильяка, основоположника классической механики Исаака Ньютона, юриста и философа Шарля Луи Монтескье, экономистов Адама Смита и Франсуа Кенэ, не говоря уже о политиках, сыгравших более или менее значительную роль в историческом процессе эпохи.

В развитии культурно-исторического метода важное значение имела опубликованная в 1876 году рецензия академика Н. С. Тихонравова на «Историю русской словесности, древней и новой» А. Д. Галахова. Огромной по объему рецензии видного ученого ввиду ее принципиального теоретического значения позднее было дано заглавие «Задачи истории литературы и методы ее изучения». Главный предмет изучения

современной истории литературы ученый определяет как «литературные произведения массы, многообразные проявления национальности в слове»\*. В основу изучения истории литературы Тихонравов кладет каузально-генетический подход. Указывая на невозможность изучения новой русской литературы «вне всякой связи с предшествующим литературным развитием», ученый постулировал абсолютность каузально-генетического подхода в историческом изучении литературы: «История народной словесности в настоящее время немыслима вне этой связи с отдаленной национальной стариной, вне ее связи с историей языка с одной стороны, с мифологией с другой» (17). В рецензии на труд Галахова Тихонравов развернул целую программу изучения русской словесности с помощью каузально-генетического ключа: «Прагматическая история русской словесности должна начинаться с указания того места, которое занимает русский народ в семье других народов; определивши это, исследователь должен перейти к характеристике народной жизни, «культурного состояния» славян до выделения и после выделения их из арийской семьи; должен объяснить далее разветвление языка славянского и распадение славянской семьи на отдельные народности, верования и быт, развившиеся на общеславянской основе и начинавшие новую историческую жизнь после обособления того или другого народа в особое историческое целое» (там же). Однако столь глубоко понятый историзм Тихонравов пытается приложить и к теории литературы, превращая ее фактически в служанку истории литературы: «Теперь нельзя уже строить на отвлеченных началах теорию и историю литературы: законы исторического развития родов и видов литературных произведений выводятся из наблюдений над народной жизнью, народной литературой. История теснила теорию: если и заходит речь о теории поэтических родов, то только в смысле их исторического развития»\*\*.

Адепты культурно-исторического метода, отчетливо создавая герметичность эстетических принципов изучения литературы, не открывавших выхода к широким историко-культурным параллелям и обобщениям, подвергали эти принципы кри-

---

\* Сочинения Н. С. Тихонравова. М., 1898, т. 1, с. 15. Далее при цитировании в тексте в скобках приводится страница настоящего издания.

\*\* Памяти Николая Саввича Тихонравова. Сб. статей, М., 1894, с. 73.

тике, жестокий характер которой не в последнюю очередь был спровоцирован инстинктивными попытками заглушить эстетическую неполноценность культурно-исторического анализа, который скорее уводил читателя от произведения, чем приближал его к нему. Мудрое замечание Белинского о том, что «искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху» не было услышано ни в 40-х годах, ни позже — не хотевший слышать не слышал. Объективно появление культурно-исторического метода было обусловлено, как я уже отмечал, целым рядом жестких закономерностей, причем роль личности в формировании культурно-исторического метода сравнительно с другими методами весьма незначительна — и это несмотря на то, что адептами метода были такие выдающиеся ученые, как, скажем, Пыпин и Тихонравов. Культурно-исторические идеи почти одновременно «заразили» гуманитарную науку во всем европейском регионе — одни и те же идеи витали в воздухе, которым дышали и маститые ученые, и заурядные критики. В 1859 году Тихонравов мог уже с полным основанием заявить: «В настоящее время история литературы заняла уже прочное место в ряду наук исторических; она перестала быть сборником исторических разборов избранных писателей, прославленных классическими; ее служебная роль эстетике кончилась, и, отрекшись от праздного удивления литературным корифеям, она вышла на широкое поле положительного изучения всей массы словесных произведений, поставив себе задачей уяснить исторический ход литературы, умственное и нравственное состояние того общества, которого последняя была выражением, уловить в произведениях слова постепенное развитие народного сознания, — развитие, которое не знает скачков и перерывов. Отдельное литературное произведение эта наука перестала рассматривать как явление исключительное, вне всякой связи с другими, перестала прилагать к нему только чисто эстетические требования. С изменением задачи изменилось и значение историко-литературных источников и пособий. На первый план начали выдвигаться литературные произведения, которые даже не упоминались в прежних историях литературы: вся история средневековой европейской словесности создалась только в последние четыре десятилетия. С другой стороны, стараясь объяснить появление и значение известного литературного произведения в длинной цепи других, история литературы стала дорожить теми подробностями, которые содействуют уяснению

этого вопроса: отсюда любовь к полным изданиям писателей, к собиранию биографических данных, к изданию рукописей, редких старопечатных книг и т. п.»\*.

Принципиальное различие между методом «эстетической критики» и культурно-историческим методом состояло также в том, что первый рассматривал литературное произведение как готовый продукт с устоявшейся структурой, второй — как незавершенное звено некоей разомкнутой технологической цепочки — противопоставление, плодотворное и для современного литературоведческого процесса. Это принципиальное расхождение хорошо заметно в заключительной части тихонравовской рецензии, где встречаем такие строки: «Рассматривая литературное произведение как **факт совершившийся** вне связи с временем и обществом, среди коих оно явилось, г. Галахов группирует литературные явления по тем родам поэзии и прозы, к которым они относятся, сводя под одну рубрику однородные произведения различных литературных эпох и направлений» (122, выделено мной. — В. Ч.).

Решающая роль в развитии культурно-исторического метода принадлежит трудам академика А. Н. Пыпина. Из массы (около 1200) самых разнообразных сочинений ученого для нас наибольший интерес представляют такие его труды, как «Общественное движение в России при Александре I» (1871), «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (1873), «Белинский, его жизнь и переписка» (1876), «История славянских литератур» (1879), «История русской этнографии» в 4-х томах (1890—1892 гг.), «История русской литературы» в 4-х томах (1898—1899 гг.).

Русского ученого так же, как и Гёте, поглощала мысль о создании истории всеобщей литературы, о возможности изучения «развития единого цельного поэтического движения во всем человечестве». Но если во времена Гёте эта идея опережала ход развития гуманитарной мысли, то современная Пыпину наука уже вплотную подошла к осуществлению этого замысла. Выработке такого широкого взгляда на мир способствовало, по мнению ученого, пять причин или условий: национальные возрождения, романтизм, развитие культурно-исторической методологии, расширение путешествий и международных контактов. Непомерную тяжесть взваливал Пыпин на

---

\* Цит. по: Академические школы в русском литературоведении. М., 1975, с. 138—139.

плечи филологии, которая, по его мысли, должна стать некой синкретической наукой, интегрирующей огромные области человеческих знаний (кроме языка и литературы, это археология, история культуры, психология, искусствознание и др.). Достойная роль в этом величественном здании современной филологии отводилась истории литературы, которая «является одной отраслью этой обширной науки и, как часть ее, предполагается не чуждой тем разнообразным условиям исследования, какие «филология» привлекает в свой объем. История литературы является с своей стороны также историей бытовой и духовной жизни народа, только в более тесном круге произведений слова»\*. Во «Введении» в «Историю русской литературы» (1897) Пыпиным были обобщены и сформулированы задачи новейшей истории литературы, которые как нельзя лучше отвечали требованиям культурно-исторической методологии. Любопытно, что сравнительно-историческое изучение литературы предстает здесь одной из задач культурно-исторического изучения. «Таким образом, — резюмирует ученый, — новейшая литературная история, во-первых, ставит себе задачей изложить судьбы национального литературного труда в области художественного творчества, начиная с его первых проявлений в древней народной поэзии; во-вторых, не ограничиваясь произведениями чистого художества, привлекает к исследованию сопредельные проявления народной и общественной мысли и чувства, рассматривая эти произведения литературы как материал для психологии народа и общества; наконец, изучает явления литературы сравнительно в международном взаимодействии» (33). Типично культурно-историческая трактовка истории литературы как «истории не столько литературы собственно, сколько истории образования, общественной жизни и нравов» (ср.: «...История литературы есть историческое отражение внутренней жизни народа», 22) сочетается у Пыпина с пониманием роли истории литературы, которое станет характерным для науки XX столетия: «...история литературы входит в целую историю общества, и по литературе мы имеем возможность судить о возрастании общественного самосознания»\*\*.

---

\* История русской литературы А. Н. Пыпина. СПб., 1902, т. 1, с. 4. Далее при цитировании в тексте в скобках приводится страница настоящего издания.

\*\* Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов. СПб., 1909, с. VII.

Как классический представитель культурно-исторического метода, Пыпин использовал при анализе литературного произведения апробированную процедуру установления каузально-генетической связи между явлениями. Постулат Пыпина — «Причинная связь явления не знает границ» — может служить превосходным эпиграфом к культурно-историческим изысканиям. (Ср. также правило, сформулированное в 1923 году Н. К. Пиксановым, испытавшим на себе воздействие традиций культурно-исторической школы: «Историк-литературное мышление должно вращаться в категории причинности, а не качества»<sup>\*</sup>).

Заслуги Пыпина в разработке культурно-исторического метода, в подготовке целой школы крупных ученых (среди которых — Алексей и Александр Веселовские, П. Н. Сакулин) столь велики, что русское направление культурно-исторических исследований нередко именовалось «пыпинианством». Широкое распространение и популяризация культурно-исторического метода во второй половине XIX века в России объяснялись тем, что «в русских условиях литература в течение почти всего XIX века была почти единственным средством выражения общественных идей»<sup>\*\*</sup>.

Биографический метод поставил в центр изучения личность писателя. Однако редко кому из исследователей удавалось удерживаться в рамках узкого биографизма — роль окружения, социальной среды и других внеличных факторов в становлении личности писателя бесспорна, и разность между двумя подходами к этим факторам и составляет фактически разницу между биографическим и культурно-историческим методами. Для первого внеличные факторы представляют интерес лишь постольку, поскольку они «работают» на личность, для второго они самоценны, а личность суть не что иное, как продукт их взаимодействия.

Ипполит Тэн, внесший определенный вклад в развитие биографического метода и введший в научный оборот формулу «раса — среда — момент», стал фактически одним из пионеров культурно-исторического метода. «Благодаря методу, примененному Тэном, т. е. историческому объяснению литературных памятников, — замечал В. И. Герье, — драмы Расина воскресают к новой жизни; все, что они утратили в художественном отношении в наших глазах, они вновь при-

---

<sup>\*</sup> Пиксанов Н. К. Старорусская повесть. М.; Пг., 1923, с. 7—8.

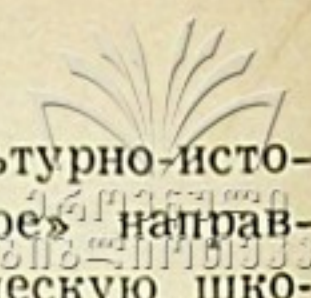
<sup>\*\*</sup> Академические школы..., с. 108.

обретают как исторический памятник; вся заключающаяся в них эстетическая ложь превращается в историческую правду»\*. Немалый методологический интерес представляет замечание крупнейшего представителя культурно-исторической школы о методе основоположника биографического метода Шарля Сент-Бёва и методе Ипполита Тэна, к которому культурно-исторический метод предпочитал возводить свою генеалогию. «Тэн был, — писал Пыпин, — критическим преемником Сент-Бёва, который в массе своих критических этюдов, нередко очень тонких и остроумных, изучал произведение рядом с писателем; биография становилась необходимым комментарием произведения и была так необходима для Сент-Бёва, что он отказывался рассматривать произведения писателя, биография которого была ему неизвестна. Тэн думал, наоборот, что произведения писателя, внимательно исследованные, доставляют все основные данные его характера. Вместе с тем Тэн в целом понимании развития литературы пошел несравненно дальше своего предшественника, и вообще предшественников во французской литературе, и независимо от обширных исследований, какие совершались в этой области по преимуществу в немецкой литературе, он пришел к широкой точке зрения, которая до значительной степени совпадала с немецкими представлениями о задачах «филологии». История литературы должна была стать психологией народа» (6).

Несмотря на то, что культурно-исторический метод отпочковался от биографического метода как своего непосредственного родителя, последний пережил свое детище, просуществовавшее до конца прошлого столетия, и благополучно дожил до наших дней. В Германии и России в силу целого ряда благоприятных факторов сложились национальные школы культурно-исторического литературоведения. Исторические судьбы русской школы подробно прослежены А. Л. Гришуниным\*\*. К русской школе, возглавляемой Н. С. Тихонравовым и А. Н. Пыпиным, принадлежали Н. И. Стороженко, А. И. Кирпичников, А. А. Шахов, Н. П. Дашкевич, С. А. Венгеров, М. Н. Розанов, В. Е. Чешихин-Вертинский, П. С. Коган и другие ученые. Из этой школы вышел и крупнейший русский ученый прошлого столетия Александр Веселовский, творчество которого переросло рамки культурно-исторического мето-

\* Герье В. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. — Вестник Европы, 1890, № 1, с. 11.

\*\* См.: Академические школы..., с. 158—201.



да. В конце 50-х годов XIX века от русской культурно-исторической школы отпочковалось «библиографическое» направление, переросшее впоследствии в историко-фактическую школу (Л. Н. Майков, В. И. Сантов, А. И. Лященко и др.) Культурно-историческая школа дала также толчок психологическому методу Д. Н. Овсяннико-Куликовского и его последователей. К концу столетия культурно-исторический метод уже заметно дряхлеет — немногочисленные попытки оживить его успеха не имели. Глубоко символично, что на исходе века, в 1899 году, прозвучала программная речь М. Н. Розанова, в которой он объявил о том, что культурно-исторический метод исчерпал себя. В XX столетии культурно-исторический метод уже не объединяет исследователей — его вытесняют сравнительно-исторический, формальный и другие методы изучения литературы. Отдельные попытки реанимировать его наблюдаются в основном в среде ученых, занимающихся древней литературой, но и они с течением времени гаснут.

С точки зрения современной науки о литературе главным недостатком культурно-исторического метода является слабко выраженная литературоведческая специфика. Стремление к содружеству наук (история культуры, социология, история, психология, лингвистика, этнография) было бы эффективным лишь в том случае, если в фокусе исследования находилось бы литературное произведение. Увлеченность представителей культурно-исторического метода всевозможными культурно-историческими параллелями и последовательностями была сродни увлеченности путешественников и исследователей великими географическими открытиями. Со временем культурно-историческая школа не могла вместить в свои «стены» всех желающих — каждому хотелось поупражняться в эрудиции и культурно-исторических наблюдениях: благо не было запретительных приемов исследования. Неучет специфики литературной действительности, как действительности относительно автономной, приводил сторонников метода к грубым допущениям: на основе идеологических и мировоззренческих выжимок из художественных произведений реконструировалась общественная мысль, строились социальные и психологические модели, не отвечавшие исторической действительности. Задача «восстановления по литературным произведениям внутреннего облика индивидуумов и обществ данной эпохи» (Н. П. Дашкевич) не могла быть успешно решена, потому что, как справедливо заметил В. Н. Перетц, «нельзя доверять литературным



памятникам как документам»\*. В свете сказанного понятно, почему вопрос об обратном влиянии литературы на общество в русле культурно-исторической школы не ставился, хотя отдельные замечания на этот счет можно встретить у А. Н. Пыпина, А. А. Шахова, Л. Е. Колмачевского. Наиболее глубокой и плодотворной критике культурно-исторический метод подвергся в работах Л. С. Выготского и П. Н. Медведева.

Значение культурно-исторического метода состояло прежде всего в том, что он применил и усовершенствовал каузально-генетический подход к литературным явлениям и фактам, что само по себе явилось немалым теоретическим вкладом метода в научное литературоведение. Ставить под сомнение историческую обусловленность многих явлений литературной жизни после культурно-исторического анализа было уже невозможно. Культурно-исторический метод приподнял древнейшие пласты литературной истории, не тронутые учеными предыдущих поколений, воссоздал историю средневековой европейской словесности. «Новая историко-литературная школа, — замечает современный исследователь, — углубила свои интересы в доисторические времена общих арийских предков индоевропейских народов, и характеристика древних периодов отдаленной национальной старины сделалась необходимым введением в историю языка и литературы народа»\*\*. Культурно-исторической школой был накоплен гигантский фактический материал, который в состоянии упорядочить разве что современные компьютеры. Коллективные труды, созданные в русле школы (например, «Основные направления германской филологии» Германа Пауля при участии 26 ученых, или «Основные направления романской филологии» Густава Гребера при участии 27 ученых) были своего рода энциклопедиями эпохи, откуда можно было почерпнуть сведения не только по истории письма, языка, литературы и искусства, по мифологии и фольклору, но и по собственно истории, географии, этнографии, юриспруденции, хозяйству и даже военному делу. Важной исторической заслугой культурно-исторического метода, ведущего свое происхождение от биографического метода, было стимулирование сравнительно-исторического метода изучения литературы, а также подготовка почвы для появления психологического метода.



---

\* Перетц В. Н. Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914, с. 122.

\*\* Академические школы..., с. 144.

## „Я ищу тебя, чтоб могла жить душа моя“

(АРЧИЛ ДЖОРДЖАДЗЕ — О Л. Н. ТОЛСТОМ)

Казалось бы о Льве Николаевиче Толстом давно уже все сказано, но каждое проникновение в суть его творческого духа, тем более если это проникновение личности незаурядной, представляет огромный интерес.


Небольшие по объему статьи талантливого грузинского писателя и общественного деятеля Арчила Константиновича Джорджадзе поражают читателя глубоким познанием титанической личности Льва Толстого. «Многие думают, — писал А. Джорджадзе в статье «Лев Толстой (Трагедия жизни, друзья)», что Толстой-художник и Толстой-моралист-мыслитель — это разные люди. Художественное дарование — несомненно исключительный дар, но попробуйте отделить от художественного произведения его содержание, и от него не останется и следа. Толстой один из тех художников, чья творческая сила вдыхала жизнь во все его существо. Правда, в последние годы Толстой прекратил поиски художественной формы, прямо, без прикрас излагал свои мысли, но это отнюдь не значит, что всей предшествующей жизнью он утверждал и защищал одно, а под конец ее — другое. Нет, всю свою долгую жизнь Толстой служил одной мысли, одной идее. Это был поиск смысла жизни, признание «горемычности» ее перед лицом смерти, титаническое сражение с проблемой смерти. Толстой облакал свои мысли то в художественную форму, то развивал в философских трактатах».

Читая статьи Джорджадзе, кажется, он духом сопричастен таинству толстовской мысли, рождающейся из познания истины вечной жизни. Джорджадзе лаконичен в выражении

своей мысли, все прочувствовано прежде чем высказано, разнообразие чувств покорено единству идеи.

В ноябре 1910 года, когда петербургские и московские газеты пестрили противоречивыми суждениями и предположениями о причинах бегства 83-летнего Льва Толстого из семьи, А. Джорджадзе высказал не лишнюю интереса мысль: «Если мы хотим знать, куда бежал Толстой, какими мыслями и чувствами был обуреваем и движем восьмидесятитрехлетний старец, когда тайно, в сопровождении лишь одного друга, холодной осенью уезжал куда-то по Рязано-Уральской железной дороге, если мы хотим постичь его странное поведение, то должны иметь в виду не разговоры и догадки репортеров петербургских и московских газет, но писания самого Толстого, саму его жизнь, и тогда станет ясным, куда стремился великий старец, куда он бежал, когда в его сердце, наконец, созрела вынашиваемая всей его жизнью идея». В подтверждение своего довода Джорджадзе обращает внимание читателя на произведение Толстого «О жизни», считая его синтезом этико-религиозных идей автора, чрезвычайно образно передающим его ощущение жизни. «С сознанием моей жизни не соединим понятие времени и пространства, — писал Толстой, — жизнь моя проявляется во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама же жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и пространства. Так что в этом взгляде выходит наоборот: не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное — призрачно. И потому временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерти при этом взгляде не существует».

Дневники, записи, письма Толстого обнаруживают его постоянное непреодолимое желание уйти, уехать, переменить образ жизни. «Его друзья, — вспоминает дочь писателя Татьяна Львовна, — да и не только друзья, полагали, что ему следует порвать с семьей; чтобы начать жизнь согласно своим убеждениям. Среди его посетителей были люди, которые составили себе на основании прочитанного представление о том, как живет Толстой. И когда они видели в доме слуг в белых перчатках, раскладывавших серебро и подававших кушанья, видели, как играют в теннис, — они не скрывали своего разочарования и огорчения. Не зная всего того, с чем Толстой сообразовал свое поведение, они теряли веру в своего учителя».



Толстой неоднократно пытался уйти из дома и семьи, но объективные жизненные обстоятельства мешали осуществить задуманное. Уже после смерти Толстого было найдено письмо, написанное им в 1897 году, которое в основном поясняет причину его бегства. «Главное же то, — писал Толстой, — как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису. так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни со своими верованиями, своей совестью».

Осмыслив особый, многоликий мир Толстого, Джорджадзе приходит к убеждению, что Лев Николаевич смотрел на себя как на путника, и его бегство символически олицетворяет то безначальное и бесконечное душевное движение, которое постепенно освобождало старца от земного плена, от печали и мирского наслаждения. Проникая в глубины могучей и поэтической индивидуальности Льва Толстого, Арчил Джорджадзе выявил те потаенные стороны жизнедеятельности и творчества писателя, без которых его личность остается как бы неполной и неопределенной.

Толстой теоретически так и не смог доказать, что за пределами времени и пространства существует сверхъестественное царство — истинная жизнь. Но для состояния его души и избавления от ощущения трагизма, ему необходимо было верить в существование чего-то вечного и постоянного — безупречной и неизменной полноты жизни, высшего блага, которое не подвластно ни времени, ни пространству, ни смерти. По мнению Джорджадзе, «религия Толстого, в сравнении с другими существующими религиями, рационального характера и, несмотря на стремление к потустороннему миру, по существу земная. Земная потому, что посюсторонняя жизнь является ступенью, этапом к переходу к более высокой жизни. И потому отрицать эту земную жизнь нельзя. Правда, она исполнена страданий, но страдания необходимы человеку, они делятся только здесь, на земле, которая есть тоннель, выводящий в потусторонний мир. Кто хочет жить, должен терпеть страдания, пройти через тоннель и спастись в царстве истинной жизни. Таким образом, толстоизм отнюдь не проповедует бегство из жизни. Его религия действенна. Впрочем, следует сказать и то, что она поощряет к действию только тех, кто

верит в мимолетность нашего мира, который — лишь внешняя оболочка великой и вечной жизни. А те, кто не верят, восстают против этой жизни и царящих в ней страданий и никак не примирятся с необходимостью этих страданий. Эта религия рациональна, потому что избавлена от догматов официального христианства и всякого рода посредников в отличие от ортодоксального христианства, избравшего своим посредником церковь. Рациональна она еще и потому, что представляет бессмертие не в терминах материальной жизни. Здесь нет места ни воскресению личности из мертвых, ни материального представления «Эдема», где, подобно мусульманской вере, бессмертные наслаждаются сладостными чувствами этого мира». Если это так, заключает Джорджадзе, то сила учения Толстого — сам человек и его орудие — разум. Человек сам должен ковать свое счастье, а его разум обосновать возможность изыскания этого счастья.

Вместе с тем, в самом стержне философии Толстого Джорджадзе усмотрел и слабую сторону. В частности, по Толстому, «особенное, разумное отношение к миру» бессмертно и вечно, так как оно существовало до рождения физической жизни и останется после ее смерти. Но это «особенное, разумное отношение к миру», по словам Джорджадзе, само по себе ничего не значит, если четко не обозначен субъект, личность, имеющая это «особенное, разумное отношение к миру». Толстой же не говорит о бессмертной личности с одной стороны из-за страха перед ортодоксальным христианством, которое наделяло эту личность материальными свойствами, с другой же из-за отрицания рациональной метафизики, свидетельства которой не конфузили его интуиции и перекипевшие в чувствах мысли.

Одна из причин столь глубокого проникновения А. Джорджадзе в философию Толстого заключается в том, что Джорджадзе обладал широкими научными и религиозно-философскими знаниями. Своим творчеством он оказал значительное влияние на развитие грузинской литературно-критической и общественной мысли конца XIX и начала XX столетия.

Джорджадзе не ограничивается глубокомысленной интерпретацией философии Толстого, его оригинального и самобытного жизненного кредо, со свойственной ему благородной простотой он дает исчерпывающую характеристику изгнанным из России последователям Толстого, которые на юго-востоке Англии, в графстве Эссекс, основали свою колонию. Перед чита-

телем раскрывается ясная, правдивая картина попытки претворения в реальную жизнь толстовской доктрины. На территории колонии была организована коммуна. Стараясь обеспечить себя своим трудом, члены коммуны сообща обрабатывали землю и вели хозяйство. Во время пребывания в Англии Джорджадзе подружился с новопоселенцами, в том числе с близкими друзьями и учениками Толстого. От внимания грузинского писателя не укрылось, что среди новопоселенцев одни были довольны работой и жизнью с множеством компромиссов, так как имели возможность трудиться со спокойной совестью и удовлетворять свои потребности, другие же выражали недовольство невозможностью целиком удовлетворить свои потребности, работой на предоставленном участке земли и необходимостью пользоваться услугами рынка, считая, что таким образом они вовлекаются в сети социальной жизни и принуждены участвовать в несправедливом деле. «Через два года, — пишет Джорджадзе, — коммуна распалась. Причина была очевидна. «Довольные» постепенно заостенели в своем довольстве. Они перестали воодушевляться мыслью о непрерывном прогрессе личности. «Недовольные» же стали следовать требованиям «подвижной» совести личности. Исповедуя принцип христианского учения, требовавшего от них совершенствования и самопожертвования, они жаждали свободного действия, — разрыва с собственностью, деньгами и всякими организациями, бездомного бродяжничества и оказания помощи работой тем, кто в ней нуждался, т. е. работникам деревни. «Довольные» вцепились в собственность и существующий порядок, «недовольные» же покинули их для свершения высшего долга».

Что же касается отношения самого Льва Николаевича к толстовцам, о нем можно узнать из воспоминаний его дочери Татьяны Львовны: «Однажды среди людей, бывших у отца, я увидела неизвестного молодого человека. Он был в русской рубашке, больших сапогах, в которые с напуском были заправлены брюки. «Кто это?» — спросила я отца. Папа наклонился ко мне и, закрывая рукой рот, прошептал мне на ухо: «Этот молодой человек принадлежит к самой непостижимой и чуждой мне секте — секте толстовцев».

Несмотря на то, что созданная толстовцами коммуна не справилась со своей основной миссией, эксперимент, можно сказать, не удался, все же Джорджадзе большую заслугу поселенцев видит в том, что они подготовили и осуществили

переселение из России двенадцати тысяч духоборов, сначала на остров Кипр, а затем в Канаду. Грузинский писатель с болью и сочувствием описывает трагическую судьбу духоборов, крайнее протестантское вероисповедание которых велит любить не только друга, но и врага своего. Следуя этим заветам, духоборы, несмотря на жестокие истязания, категорически отказывались служить в войсках самодержавной России. После этого их насильственно выселили из мест проживания. При содействии толстовцев двенадцать тысяч духоборов переселились в Канаду, другие же обосновались в Грузии. «Наш народ, — рассказывает Джорджадзе, — хотя ему и самому живется нелегко, дружелюбно встретил преследуемых духоборов и оказал им посильную помощь».

Статьи А. Джорджадзе о Льве Николаевиче Толстом раскрывают проблему толстоизма, показывают, как переживал этот великий человек трагизм жизни и в каких формах сформулировал древнейшую мудрость человечества.

В заключение нашей статьи приведем слова Арчила Джорджадзе о Толстом: «Толстой обрел Бога и бессмертие, иначе он жить не мог. Подобно святому Августину, Толстой говорил: «Я ищу Тебя, чтобы могла жить душа моя». И осуждать его надо не за то, что он так пламенно и искренне искал Бога и спасения, но за то, что бесспорными аргументами в решении этих проблем он почитал желание и скорбь».



**28 октября** в Грузии впервые состоялись многопартийные выборы в Верховный Совет республики.

Убедительную победу на выборах одержал блок «Круглый стол — Свободная Грузия».

**14 ноября** начала работу первая сессия Верховного Совета Грузии первого созыва.

Сессия началась с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.

Почти единогласно Председателем Верховного Совета Грузии был избран Звиад Константинович Гамсахурдиа, лидер блока «Круглый стол — Свободная Грузия».

Верховный Совет принял Закон об объявлении переходного периода в республике для восстановления полной государственной независимости Грузии, внес соответствующие изменения в Конституцию республики.

Единогласно был принят Закон об изменении наименования республики.

Сессия утвердила новую атрибутику Республики Грузия.

Верховный Совет принял обращения: к народам мира, к

Парижской конференции членов государств и правительств стран—участниц совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, ко всей Грузии.

**22 ноября** первая сессия Верховного Совета Республики Грузия первого созыва возобновила работу. Ее открыл Председатель Верховного Совета Звиад Гамсахурдиа.


Вновь назначенный Председатель Совета Министров Республики Тенгиз Сигуа представил ряд предложений по формированию нового кабинета министров республики, по реорганизации структур некоторых министерств и ведомств, назвал кандидатуры на посты министров.

Парламент принял заявление по поводу концепции нового союзного договора, недавно поступившей в Верховный Совет республики.

Парламент утвердил изменения в уголовном кодексе республики, отменяющие предусмотренную ранее уголовную ответственность за уклонение от службы в рядах Советской Армии.

Депутаты обсудили и утвердили Закон об амнистии.





**ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ГРУЗИНСКОЙ  
ССР**

Верховный Совет Республики Грузия постановляет:

1. Именовать Грузинскую Советскую Социалистическую Республику Республикой Грузия.

2. Внести соответствующие изменения в Конституцию (Основной Закон) Республики Грузия.

Закон вступает в силу с момента принятия.

**Председатель Верховного Совета Республики Грузия  
З. ГАМСАХУРДИА**

Тбилиси.

14 ноября 1990 года.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ  
ОБ ОТМЕНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ВОССТАНОВЛЕНИИ  
ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ**

Разделяя мнение грузинской общественности Верховный Совет Республики Грузия постановляет:

1. Отменить на всей территории Республики Грузия все существующие до настоящего времени праздники и связанные с ними нерабочие дни, за исключением дня Нового года (1 января).

Отменить все связанные с этим нормативные акты.

2. Объявить День восстановления государственной независимости Грузии — 26 Мая праздником и нерабочим днем.

3. Восстановить следующие нерабочие дни, связанные с церковными праздниками:

Светлсе Христово Воскресение — Пасху (дата переходная);

Святое Богоявление — крещение Господа Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа — 19 января (6 января по старому стилю);

Мцхетоба-Светицховлоба — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — 14 октября (1 октября по старому стилю);

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы (Мариамоба) — 28 августа (15 августа по старому стилю);

Гиоргоба — День Святого Георгия — 23 ноября (10 ноября по старому стилю);

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — 7 января (25 декабря по старому стилю);

Объявить нерабочим днем также День поминовения усопших (второй день после Пасхи, понедельник, дата переходная);

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

**Председатель Верховного Совета Республики Грузия**  
**З. ГАМСАХУРДИА**

Тбилиси.

22 ноября 1990 года.



Главный редактор Роман **МИМИНОШВИЛИ**

**Редакционная коллегия:**

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Ремаз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили  
Корректор Т. Бадриашвили

---

Сдано в набор 9.11.90 г. Подписано к печати 17.01.91 г.  
Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 7.300. Заказ 2434. Цена 65 коп.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства ЦК КП Грузии, по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 1.  
Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Костава, 14.

65 კ.

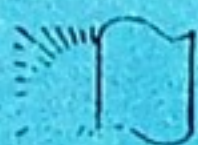
ИНДЕКС 76117



ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურნაია კრუზია“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო  
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან



«Литературная Грузия», 1990, № 11, 1—224